

Траектория Творчества

№ 1(21) 2014

Литературно-художественный и культурно-просветительский журнал
для семейного чтения



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Константин Фролов «Они не учили истории...»	2
Николай Гумилёв «Та страна, что могла быть раем...»	10
Мария Голикова «К небесам ведёт дорога по земле...»	29
Дмитрий Кузнецов «Озарится восток путеводной звездой...»	83
Марина Озерова «Не зови меня до срока...»	101
Анастасия Муртазина «Есть люди, которые лечат людей...»	148

ПУБЛИЦИСТИКА

Иван Ильин О расчленителях России	6
Лев Балашов Стихотворение И. Бродского «На независимость Украины» и современность	157

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Мария Голикова «Может быть, мне совсем и не надо героя...» <i>Поэтический мир Николая Гумилёва</i>	13
---	----

ПРОЗА

Игорь Гергенрёдер Рыбарь. <i>Повесть</i>	31
Валерий Ясов, Марина Озерова Постановка. <i>Роман</i>	106
Фёдор Достоевский Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать	152

ФАНТАСТИКА

Алекс де Клемешь На Иваевской высоте. <i>Рассказ</i>	89
--	----

Издаётся при поддержке
Министерства культуры и туризма Калужской области
и Калужского отделения СП РФ
© «Траектория Творчества», 2014
Все права защищены
ISSN 2227-5991

Учредитель и издатель
ООО «Издательский Дом „ТТ“»

Главный редактор
Елена ТАРУССКАЯ

Директор
Д. Г. ЕВСЮКОВ

Редакционный совет:
Т. Бессонова, И. Еременко, А. Зуев,
Д. Кузнецов, Б. Леонов, И. Наумов,
А. Ольшанский, В. Смирнов, Б. Тарасов,
В. Терехин, М. Улыбышева

Зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия. Свидетельство:
ПИ № ФС77-23573 от 06.03.2006

Периодичность: 4 номера в год

Адрес редакции:
249100, Калужская обл., г. Таруса,
ул. Октябрьская, 2/1, офис 208.
Тел./факс (48435) 2-55-42.
E-mail: tt_lit_magazine@mail.ru

Подписку на журнал можно оформить
в редакции

Компьютерная верстка,
дизайн *С.И. Захаров*
Корректор *Н.Г. Любомудрова*

Подписано в печать 05.05.2014.
Формат 70×90^{1/16}. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 10 п.л.
Тираж 500 экз. Зак. 1877

Отпечатано с готового оригинал-
макета в ОАО «КТС».
248021, г. Калуга, ул. Московская, 256.
Тел. (4842) 55-10-12

Мнение авторов может
не совпадать с позицией редакции

При перепечатке ссылка на журнал
«Траектория Творчества» обязательна.
Цена номера в розницу — договорная

Майдан

Я чувствую эту трясину
С амвона своей седины.
Всевышний, спаси Украину
От лютой гражданской войны.

Зажжён революцией Киев.
Спит разум, он здесь не в цене.
Несметные жизни людские
Сгорят в этом адском огне.

Воздвигнуты вмиг ограждения.
Кто прав, кто виновен — вопрос.
Страну, что больна от рожденья,
Несложно пустить под откос.

По воле заморского рока
Сцепились на месте святом
Два демона — Запад с Востоком,
По сути, не зная за что.

Ликует гнилая верхушка,
Ладонь потирает ладонь.
Россия, не зри равнодушно
На дьявольский этот огонь!

Тут Запад с улыбкой вампира
Уже не стоит за ценой!
Европа устала от мира,
И нагло грозит войной.

Когда, прорывая плотины,
К нам нечисть ползёт на порог,
Для русского сердца едины
Два слова — Россия и Бог.

От ненависти и от боли,
От жажды одной — убивать
Спаси нас, Россия. Ведь боле
Нам не на кого уповать!

Наш язык

Наш язык — продолжение той
сокровенной молитвы,
Что свела воедино разрозненные
племена.

Восхитительным гимном звучала
в преддверии битвы
И на подвиг святой сыновей
вдохновляла она!

Наш язык — от рождения каждому
данное имя,
В коем всякая буква имеет свой
царственный смысл!
Оттого искаженье его языками
иными
Изменяет судьбу вплоть до смерти,
тюрьмы да сумы.

В дни великих побед и в жестокие
годы гонений,
Каждым звуком своим в обрамлении
смеха и слёз

Наш язык приносил нам
божественный дар откровений,
Изначально ленивую мысль
возвышая до звёзд!

И цедя иноземную речь сквозь
славянское сито,
Отметя шелуху, мы в грядущее
строили мост!

Чем богаче и гибче язык —
тем мудрее носитель!
Чем изысканней цель —
тем активней работает мозг!

Наш язык разорвал древних правил
громоздкие клетки,
В гордом взлёте сознания стяхнув
ожерелья оков!

Не случайно в словесных баталиях
прошлых столетий
В нём легко растворились десятки
других языков!

Наш Великий Язык драгоценнее
прочих наследий!
Это парус на мачте и дующий
в спину зюйд-вест!
Из томов словарей и бесчисленных
энциклопедий
Можно запросто соорудить не один
Эверест!

Но когда вместо шумных каскадов
и брызг водопада
Остаётся в наследство гнилой,
полувысохший ров —
Скудоумье народ превращает
в послушное стадо,
А людей, не желающих мыслить, —
в ничтожных рабов!

Так не дайте ж иссякнуть ключу
в годы смут и брожений!
Не позволяйте ничтожествам Храм
языка разорить!..
А иначе, друзья, вы достойны
любых унижений,
Если вам всё равно, на каком
языке говорить.

Я ведаю

Я ведаю, чем это кончится —
Антихрист сорвётся с цепи.
Крылатая русская конница
Растает в бескрайней степи.

Мы мечемся в поисках истины.
А истина рядом, мой друг.

И пусть эта жертва бессмысленна,
Но я отправляюсь на Юг.

Туда, где с колами и вилами
Грядёт восемнадцатый год.
Где Белая Стая Корнилова
Уходит в Ледовый поход.

Прервать сатанинские оргии,
Бок о бок, навстречу беде,
Идут кавалеры «Геоργия»
И девочка Софья Бодэ.

Туда, где в тропической зелени
Закаты под цвет кумача,
Где выход в моря средиземные
Готовил мечтатель Колчак.

А ныне в тельняшке заштопанной,
Не веря в счастливый исход,
В укрытии бухт Севастополя
Стоит всеми преданный Флот.

Так есть в поднебесной обители.
Так будет и впредь. Се ля ви.
Признаться, мне жаль победителей —
Они захлебнутся в крови.

Они не учили истории,
«Блистая» своей простотой.
И будут дымит крематории
Рабоче-крестьянской мечтой.

Мы словно из Времени выпали.
Нам видится странный мираж:
Кресты на утёсах Галлиполи,
Безерты унылый пейзаж,

Немыслимый век одиночества,
В клинок перекованный плуг...
Я ведаю, чем это кончится.
Но я отправляюсь на Юг.

Мы однажды вернёмся, Россия

Мы однажды вернёмся, Россия,
Под твои вековые крыла,
От свободы своей обессилев,
Что обчистила нас догола.

От бредовых своих вожделий,
Под кликушеский западный вой
Мы придём и уткнёмся в колени
Непокрытой своей головой.

Побеждая в боях эпохальных,
Об униженных братьях скорбя,
Ты жалела и ближних, и дальних,
Никогда не жалея себя.

Ты несла это бремя отроду,
Как венец из терновых ветвей,
Положив за чужую свободу
Миллионы своих сыновей.

Сколько стоили эти победы
Крови, пота, отваги, труда,
Если с запада — немцы да шведы,
Золотая — с востока — Орда!

Быть бы нам бессловесной прислугой,
С очерствелою коркой в горсти,
Если б ты не надела кольчугу
И не встала у них на пути.

Натерпевшись от «жизни
красивой»
По наивной своей простоте,
Мы однажды вернёмся, Россия.
Так бывает у взрослых детей.

В знак раскаянья и очищенья,
Признавая порочность и блуд,
Мы открыто попросим прощенья
За своих бесноватых иуд.

Заигрались народные слуги,
В одиночку деля пироги!
Сколько лет наши дети и внуки
Раздавать будут наши долги!

Мы укажем своим демократам
Дальний путь в долговую тюрьму.
Лучше быть на Руси «младшим
братом»,
Чем холопом в чужом терему.

Мы столы вкусной снедью накроем,
В кубки вина златые нальём,
По былому поминки устроим,
Наши лучшие песни споём.

Нас отрезали и не спросили,
Нужно ль нас от тебя защищать...
И когда мы вернёмся, Россия,
Ты простишь. Ты умеешь прощать.

Иван ИЛЬИН



О РАСЧЛЕНИТЕЛЯХ РОССИИ*

Иван Александрович Ильин (1883–1954) — русский философ, писатель и публицист, сторонник Белого движения и последовательный критик коммунистической власти в России, идеолог Русского общевоинского союза (РОВС).

Выслан из СССР в 1922 г. за антиреволюционную деятельность. До 1934 г. жил и преподавал в Берлине, с 1938 г. — в Швейцарии. Активно участвовал в антисоветской деятельности русской эмиграции.

Взгляды Ильина сильно повлияли на мировоззрение других русских интеллектуалов консервативного направления XX в., в числе которых, например, Александр Солженицын.

Национальной России есть враги. Их не надо называть по именам: ибо мы знаем их и они знают сами себя. Они появились не со вчерашнего дня, и их дела всем известны в истории.

Для одних национальная Россия слишком велика, народ её кажется им слишком многочисленным, намерения и планы её кажутся им тревожно-загадочными и, вероятно, «завоевательными»; и самое «единство» её представляется им *угрозой*. Малое государство часто боится большого соседа, особенно такого, страна которого расположена слишком близко, язык которого чужд и непонятен и культура которого инородна и своеобразна. Это противники — в силу слабости, опасения и неосведомлённости.

Другие видят в национальной России — соперника, правда, ни в чём и никак не посягающего на их достоинство, но «могучего, однажды, захотеть посягнуть» на него, или слишком успешным мореплаванием, или сближением с восточными странами, или же торговой конкуренцией! Это недоброхоты — по морскому и торговому соперничеству.

Есть и такие, которые сами одержимы завоевательными намерениями и промышленной завистью: им завидно, что у русского соседа большие пространства и естественные богатства; и вот они пытаются уверить себя и других, что русский народ принадлежит к низшей, полуварварской расе, что он является не более чем

* Ильин И. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. — Т. 1. — М.: Айрис-пресс, 2008. (Серия «Белая Россия».)

«историческим навозом» и что «сам бог» предназначил его для завоевания, покорения и исчезновения с лица земли. Это враги — из зависти, жадности и властолюбия.

Но есть и давние религиозные недруги, не находящие себе покоя оттого, что русский народ упорствует в своей «схизме» или «ереси», не приемлет «истины» и «покорности» и не поддаётся церковному поглощению. А так как крестовые походы против него невозможны и на костёр его не взведёшь, то остаётся одно: повергнуть его в глубочайшую смуту, разложение и бедствия, которые и будут для него или «спасительным чистилицем», или же «железной метлой», выметающей Православие в мусорную яму истории. Это недруги — из фанатизма и церковного властолюбия.

Наконец, есть и такие, которые не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы привить ему под видом «терпимости» — безбожие, под видом «республики» — покорность закулисным манованиям и под видом «федерации» — национальное обезличение. Это зложелатели — закулисные, идущие «тихой сапой» и наиболее из всех сочувствующие советским коммунистам, как своему («несколько пересаливающему») авангарду.

Не следует закрывать себе глаза на людскую вражду, да ещё в исторически мировом масштабе. Не умно ждать от неприятелей — доброжелательства. Им нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убывающим народонаселением, что и осуществляется за последние 32 года. Им нужна Россия безвольная, погружённая в несущественные и некончаемые партийные распри, вечно застревающая в разногласии и многоволении, неспособная ни оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет, ни создать свою армию, ни примирить рабочего с крестьянином, ни построить необходимый флот. Им нужна Россия расчленённая, по навивному «свободолюбию» согласная на расчленение и воображающая, что её «благо» — в распадении.

Но единая Россия им не нужна.

Одни думают, что Россия, расколовшаяся на множество маленьких государств (напр., по числу этнических групп или подгрупп!), перестанет висеть вечной угрозой над своими «беззащитными» европейскими и азиатскими соседями. Это выговаривается иногда открыто. И ещё недавно, в тридцатых годах, один соседний дипломат уверял нас, что такое саморасчленение «бывшей России» по этническим группам будто бы уже подготовлено подпольными переговорами за последние годы и начнётся немедленно после падения большевиков.

Другие уверены, что раздробленная Россия сойдёт со сцены в качестве опасного, — торгового, морского и имперского, — конкурента; а затем

можно будет создать себе превосходные «рынки» (или рыночки) и среди маленьких народов, столь отзывчивых на иностранную валюту и на дипломатическую интригу.

Есть и такие, которые считают, что первую жертвою явится политически и стратегически бессильная Украина, которая будет в благоприятный момент легко оккупирована и аннексирована с Запада; а за нею быстро созреет для завоевания и Кавказ, раздробленный на 23 маленькие и вечно враждующие между собою республики.

Естественно, что религиозные противники национальной России ожидают себе полного успеха от всероссийского расчленения: во множестве маленьких «демократических республик» воцарится, конечно, полная свобода религиозной пропаганды и конфессионального соращения, «первенствующее» исповедание исчезнет, всюду возникнут дисциплинированные клерикальные партии, и работа над конфессиональным завоеванием «бывшей России» закипит. Для этого уже готовится целая куча искущённых пропагандистов и вороха неправдивой литературы.

Понятно, что и закулисные организации ждут себе такого же успеха от всероссийского расчленения: среди обнищавшего, напуганного и беспомощного русского населения инфильтрация разольётся неудержимо, все политические и социальные высоты будут захвачены тихой сапой, и скоро все республиканские правительства будут служить «одной великой идее»: безыдейной покорности, безнациональной цивилизации и безрелигиозного псевдобратства.

Кому же из них нужна единая Россия, это великое «пугало» веков, этот якобы «давящий» государственный и военный массив, с его «возмутительным» национальным эгоизмом и «общепризнанной» политической «реакционностью». Единая Россия есть национально и государственно *сильная* Россия, блюдущая свою особливую веру и свою самостоятельную культуру: всё это решительно не нужно её врагам. Это понятно. Это надо было давно предвидеть.

Гораздо менее понятно и естественно, что эту идею расчленения, обесцениения и, в сущности, ликвидации исторически национальной России ныне стали выговаривать люди, родившиеся и выросшие под её крылом, обязанные ей всем прошлым своего народа и своих личных предков, всем своим душевным укладом и своей культурой (поскольку она вообще им присуща). Голоса этих людей иногда звучат просто слепым и наивным политическим доктринёрством, ибо они, видите ли, остались «верны» своему «идеалу федеративной республики», а если их доктрина для России не подходяща, то тем хуже для России. Но иногда эти голоса, как ни страшно сказать, проникнуты сущей ненавистью к исконной исторически сложившейся России, и формулы, произносимые ими, звучат безответственной клеветой на неё (таковы, например, статьи «федерали-

стов», печатающихся в нью-йоркском «Новом Журнале», статьи, за которые целиком ответственна и редакция журнала, и основная группа его сотрудников). Замечательно, что суждения этих последних писателей, по существу своему, очень близки к той «украинской пропаганде», которая десятилетиями культивировалась и оплачивалась в парниках германского милитаризма и ныне продолжает выговаривать свою программу с вящим ожесточением.

Читая подобные статьи, невольно вспоминаешь одного предреволюционного доцента в Москве, недвусмысленного пораженца во время первой войны, открыто заявлявшего: «У меня две родины, Украина и Германия, а Россия никогда не была моей родиной». И невольно противопоставляешь его одному современному польскому деятелю, мудрому и дальновидному, говорившему мне: «Мы, поляки, совершенно не желаем отделения Украины от России! Самостоятельная Украина неизбежно и быстро превратится в германскую колонию, и мы будем взяты немцами в клещи — с востока и с запада».

И вот, имея в виду *русских расчленителей*, мы считаем необходимым привлечь внимание наших единомышленников к *проблеме федерации по существу*. И для этого просим внимания и терпения; ибо вопрос этот — сложный и требует от нас пристального рассмотрения и неопровержимой аргументации.

8 сентября 1949 г.

Николай ГУМИЛЁВ

**«ТА СТРАНА,
ЧТО МОГЛА БЫТЬ
РАЕМ...»**

10

Николай Степанович Гумилёв (1886–1921) — русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.

Основные произведения: книги стихов «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), «Костёр» (1918), «Шатёр» (1921), «Огненный столп» (1921); сборник рассказов «Тень от пальмы» (1922), сборник критических статей «Письма о русской поэзии» (1923).

Траектория Творчества. № 1(21) 2014

Военные стихи Николая Гумилёва, написанные в период Первой мировой (Великой) войны, — пронзительная и яркая страница русской поэзии.

Их совсем немного, но каждая строка, каждый образ в них — по-особому весомы и значимы. И не только оттого, что вышли они из-под пера гения, но и по причине абсолютной подлинности и какой-то эпической силы переживаний, заключённых в ритмический стихотворный рисунок. В августе 1914-го Гумилёв ушёл добровольцем на фронт, став кавалеристом лейб-гвардии Уланского полка, позже он перевёлся в знаменитый Александрийский гусарский полк, в Чёрные «бессмертные» гусары, а с весны 1917 года отбыл во Францию, в состав Русского Экспедиционного корпуса. За действия против германцев награждён двумя крестами св. Георгия (солдатскими). Войну закончил в младшем офицерском чине. В 1918 г. Гумилёв вернулся в охваченную гражданской войной Россию. В августе 1921 г. поэт был расстрелян как участник контрреволюционного заговора.

Д. Кузнецов

Солнце духа

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокошущей трубе побед.

Как могли мы... но ещё не поздно,
Солнце духа наклонилось к нам,
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.
Конец 1914 г.

Наступление

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

1914 г.

Война

М. М. Чичагову

Как собака на цепи тяжёлой,
Тявкает за лесом пулемёт,
И жужжат шрапнели, словно пчёлы,
Собирая ярко-красный мёд.

А «ура» вдали — как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»
Ноябрь 1914 г.

Из письма к Ларисе Рейснер

Взгляните: вот гусары смерти!
Игрою ратных перемен
Они, отчаянные черти,
Побеждены и взяты в плен.

Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда,
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода.

Ах, им опасен плен единый,
Опасен и безумно люб,
Девичьей шеи лебединой
И милых рук, и алых губ.

*Действующая армия,
5-й Александрийский гусарский полк,
6 февраля 1916 г.*

* * *

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамёна,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Вслед за её крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,

Забывших на полях потоптанных,
И громких в летописи слав?

Иль зори будущие, ясные
Увидят мир таким, как встарь,
Огромные гвоздики красные
И на гвоздиках спит дикарь;

Чудовищ слышны рёвы лирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И всё затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.

Не всё ль равно? Пусть время
катится,

Мы поняли тебя, земля!
Ты только хмурая привратница
У входа в Божие Поля.

Февраль 1916 г.

Набросок

Ровно в полночь пришло приказанье
Выступать четвёртому эскадрону —
Прикрывать отход артиллерии.
Это было трудное лето,
Когда мы отходили с Карпатов,
А за нами шаг за шагом
Шла Макензенова фаланга...

Декабрь 1920 г.

Мария ГОЛИКОВА



**«МОЖЕТ БЫТЬ, МНЕ
СОВСЕМ И НЕ НАДО
ГЕРОЯ...»**

**Поэтический мир
Николая Гумилёва**

Мария Голикова родилась в Свердловске, окончила филологический факультет Уральского государственного университета. Поэт, прозаик, литературный критик, автор нескольких романов и повестей.

Занимается творчеством Николая Гумилёва, работает над биографическим романом о нём. Живёт в Екатеринбурге.

Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,
Мерный скрип колёс и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нём пустой тоске.

Николай Гумилёв «Открытие Америки»

Николай Гумилёв — поэт с непростой литературной судьбой. В советское время его стихи отсутствовали в «официальной» литературе и возвратились к читателю в момент, когда всё наше общество было охвачено пылом возврата утраченного, пылом раскрытия исторических тайн, пылом чтения неизвестных, но за годы запрета ставших классическими книг и авторов... А пыл не способствует вдумчивой оценке.

Наверное, отчасти этим можно объяснить противоречивость и одновременно шаблонность сложившегося в общественном сознании образа Гумилёва. Набор описывающих его «ключевых слов» довольно беден: поэт, путешественник, воин; Африка, экзотика, героизм, романтический пафос. Для рядового читателя имя Николая Гумилёва ассоциируется прежде всего со стихотворением «Жираф»: «Послушай, далеко-далёко, на озере Чад...»

А трагическая судьба Гумилёва, его расстрел в августе 1921 года создали вокруг него ореол мученика — что, как это ни парадоксально, теперь мешает воспринимать его поэзию. Казнённый поэт становится героем независимо от своих стихов.

Да, на произведения и на имя Гумилёва, безусловно, бросает свой кровавый отсвет «не календарный, настоящий двадцатый век», как точно определили это время Ахматова. И читатели, узнав о судьбе поэта, неизбежно будут преклоняться перед

его мужеством. Но это не должно подменять само чтение, не должно мешать слушать глубинное звучание стихов.

Ведь Николай Гумилёв — один из самых неоднозначных, сложных, противоречивых и загадочных русских поэтов. Чеканная простота его слога обманчива. Его поэзия, пожалуй, больше, чем чья бы то ни было в XX веке, требует от читателя умения читать между строк. Если этого умения нет, Гумилёв предстанет лишь в том образе, который о нём уже сложился: воин, поэт, герой, певец экзотического. Но этот образ нереален — он слишком прост и однопланов. Если бы в Гумилёве не было ничего, кроме этого, не было бы написано и многих, в том числе лучших, его стихотворений.

Чтобы убедиться в этом, стоит рассмотреть любой кажущийся простым мотив его поэзии. Взять хотя бы тему экзотики. Казалось бы, что может быть проще? Романтика, Муза Дальних Странствий, Африка, капитаны, корабли...

Я знаю весёлые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немислимых трав...
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Казалось бы, это чистой воды романтизм с характерным двоemiрием, противопоставлением серого и скучного «здесь» и яркого, настоящего «там». Душа поэта находит в мечте об экзотике полноту жизни, свет, движение, которого не видят окружающие. Но в случае с Гумилёвым дело не в экзотике как таковой, а в том, что за ней стоит.

Наверное, каждому, кто пробовал заниматься творчеством, знакомо чувство, когда тебя охватывает вдохновение и внутреннему взору открывается невероятное величие и красота мира, его совершенство и многообразие, и этим ощущением хочется как-то поделиться с другими — но его очень сложно выразить. Выражение получается пафосным, но всё равно бедным и блёклым по сравнению с оригиналом. И слова, даже самые яркие, оказываются слишком слабыми, чтобы передать образы и эмоции...

Эта жажда чего-то высшего и есть та самая мечта, которая живёт в душах детей, подростков и людей, не чуждых творчества — а у остальных нередко исчезает, потому что они сами отказываются от неё.

Но если бы это была лишь мечта об экзотике, её не сопровождало бы такое пронзительное, щемящее чувство, которое мерцает во всех стихотворениях Гумилёва на эту тему — и которое возникает у читателя, когда его вдруг заденут пронизанные юношеским романтизмом строки, и душу наполнит вдохновение, как морской ветер наполняет освещённый южным солнцем парус:

И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синдбад,
Вступает с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.

О чём эта мечта? Не просто побывать физически в далёкой стране. Это мечта открыть, узнать, проверить самого себя.

Рыцарская жажда испытать своё мужество наполняет поэзию Гумилёва. Но он в этой теме не одинок. Прочитирую Владимира Высоцкого, который точно сформулировал это ощущение:

Материк безымянный не встретим вдали,
Островам не присвоим названий своих —
Все открытые земли давно нарекли
Именами великих людей и святых.

Расхватали открытья — мы ложных иллюзий не строим, —
Но стекает вода с якорей, как живая вода.
Повезёт — и тогда мы в себе эти земли откроем, —
И на берег сойдём — и останемся там навсегда.

То есть цель путешествия как таковая не важна — Африка ли это, Америка ли, или какая-то новая земля... Важно, что за этим стоит чувство неудовлетворённости нынешним собой, стремление отправиться в духовный путь, на поиски истины.

В этом смысле всякий неуспокоенный, ищущий человек, а уж, тем более, верующий человек — непременно романтик. Вот стихотворение Гумилёва «Христос»:

Он идёт путём жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.

Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды, —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца».

Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.

Здесь и сомнение — «искатель небес», но здесь и любовь, и стремление к вере, и та же щемящая мечта о прекрасной далёкой стране, о рае, к которому ведёт долгий, трудный, но захватывающе интересный путь. Что по сравнению с ним домик в Галилее — или спокойная жизнь в Петербурге?..

Со временем цель этого пути становится всё яснее. В одном из последних стихотворений Гумилёва, «Заблудившийся трамвай», она звучит с предельной ясностью:

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце моё стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Индия Духа... На этих словах лежит отсвет яркого восточного солнца, как символ полноты жизни. Символ того, что на самом деле свойственно человеку, но о чём он до поры до времени не догадывается, чего иногда боится, чему сопротивляется.

Истинная жизнь возможна только там, а здесь — лишь её отражение, более или менее отчётливое. И задача поэта — приблизиться к тому, истинному миру, насколько это возможно.

Вот она, природа гумилёвской экзотики: романтическое противопоставление серых будней «здесь» и яркой жизни «там» в итоге оборачивается противопоставлением земного и небесного, выбором между спокойными, мелкими будничными заботами и подъёмом к горным высотам, путешествием в Индию Духа, которая и есть истинная родина, истинный дом.

На самом-то деле, конечно, неважно, в какой обстановке проходит этот путь. Он совсем необязательно пролегает через ослепительно яркие экзотические земли. Как правило, даже наоборот, ничем примечательным внешне он не отличается. Но по внутренней преображающей силе он сравним с самым захватывающим путешествием.

Гумилёв оставил литературоведческие статьи, которые во многом проясняют его взгляды на литературу и на жизнь. Вот один знаменитый тезис: «Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим». Эти слова задают не просто высокую — высочайшую — планку! Пожалуй, более высокой планки никто из поэтов себе не ставил.

И мало того — подобная позиция для своего времени была более чем нехарактерна. На дворе — Серебряный век. Предчувствие роковых перемен в стране, и на этом фоне — невероятный взлёт поэзии. Но — взлёт трагичный.

Вспомним хотя бы окружение Гумилёва. Мастер метафор и полутонов Мандельштам с его виртуозным языком; печальный, как Пьеро, Блок; Ахматова с её интимной интонацией; Георгий Иванов, тонкий лирик, но скептик, если не нигилист... Каждый по-своему современен, и в первую очередь благодаря тому, что — так или иначе — каждый говорит о себе, от себя и не претендует на некое высшее знание. Все поднимают вечные вопросы, но акцент на личности автора смягчает, а то и вовсе исключает какую бы то ни было однозначность ответов — да и само наличие этих ответов. Знать что-либо наверняка в вопросах глобального порядка ещё с XIX века не принято.

Поэзия, которая во времена Гомера пела о деяниях богов и героев, поэзия, которой в ветхозаветные времена Давид славил Бога, теперь приобретает совершенно иное лицо. Теперь она становится такой же одинокой и сомневающейся, как и сам человек. Становится предельно личностной. Принято быть вдумчивым, рефлектирующим, мечтательным — но быть последовательно принципиальным, приводить в соответствие с поэзией свою жизнь уже не принято, как-то даже и в голову не приходит. Библейские времена давно позади, античность позабыта, да и средневековые с его рыцарями и культом героизма и Прекрасной Дамы кажется архаичным, всерьёз его воспринимают только подростки...

А Гумилёв в такой ситуации искренне и безоглядно поверил в древние идеалы и всю жизнь относился к поэтическому слову как к слову творящему, энергию которого негоже расходовать по пустякам. Он говорил и своими стихами, и своей жизнью, что цинизм и безверие — признак внутренней слабости, а веру и силу надо доказывать. Он и доказывал — пошёл на войну, хотя имел и право, и возможность не ходить. Ездил в Африку, несмотря на слабое здоровье. Окружающие удивлялись — зачем?

И в самом деле — зачем? Ответы можно искать в биографии, во мнениях современников. Но лучше всего — в стихах.

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда.
Всё, что смешит её, надменную, —
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Гумилёв и в других стихотворениях с горечью отмечал свою несовременность и несвоевременность. Ему несравнимо ближе совсем другая эпоха и другой мир, забытый в современной суете:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

Это эпическое мироощущение. А теперь представьте себе поэта с таким мироощущением, с таким отношением к слову... Даже не зная его стихов, можно предположить, что мы в них встретим: богоискательство, явное или скрытое; придирчивое отношение к форме стиха, постоянные попытки найти баланс между формой и содержанием, чтобы не только сказанное, но и само звучание поэтического слова своим совершенством вовлекало читателя в служение сродни религиозному. При таком подходе пафос естественен — и поэтому в нём нет фальши, а есть торжественность и, как это ни парадоксально, простота.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог.

То есть поэт не просто пишет стихи, «самовыражается». Он служит Богу. А значит, и жизнь этого поэта будет попыткой воплотить принципы, о которых он пишет. Постоянная самодисциплина, стремление выполнить свой долг, вечная борьба с самим собой...

С ним будут и вечные спутники верующего человека: с одной стороны, чувство собственной силы и величия мира — а с другой, чувство собственной слабости. Страх, что не хватит сил удержать высоко поднятую планку, тоска по Небу, мучительное осознание разлада между земным и небесным, жажда соединения — и боязнь этого соединения... Смирение, признание ограниченности собственных сил — и чувство собственного достоинства. И постоянный взгляд вверх, ожидание откровения. В том числе — поэтического откровения.

Гумилёв не просто тянулся к этой системе координат. Он в ней жил, естественно себя чувствовал. И его стихи понятны читателю ровно в той мере, в какой ему понятна и близка эта система взглядов. Иначе они могут показаться неестественно звонкими — и недостаточно искренними. Собственно, такими же, какими покажутся нечуткому и неподготовленному читателю и древние эпические книги: «Илиада», «Песнь о Роланде» — или даже Библия...

Впрочем, вопрос об искренности применительно к Гумилёву сложный. Если у поэта есть чёткое понимание того, «как надо жить», «как надо писать» (а у Гумилёва оно было, и он его постоянно декларировал), то его искренность автоматически становится относительной. Он уже не может свободно и легко рассказывать о том, что чувствует в минуты слабости — поскольку свою слабость и сомнения воспринимает как ошибку. Он честен прежде всего в стремлении.

Здесь возникает антихристианское искушение подменить волю Бога своей, пойти на поводу у гордыни. Надо ли человеку самому назначать себе высокие роли? Этот вопрос мучил Гумилёва с раннего периода его творчества. Вот стихотворение 1910 года:

Христос сказал: «Убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвёздные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных...»
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живём и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они своё величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гёте
И Байрон — площадным шутком... о ужас!

Здесь романтический склад мышления не помогает, а мешает понять. Это попытка самостоятельно расставить мир по местам, в которой оказалось потеряно самое главное: любовь. Бог есть любовь, но в мире Гумилёва Бог вызывает скорее страх, а творчество становится не проявлением любви к миру и к Богу, а максимальным проявлением самости человека, его эго, — проявлением, заслуживающим наказания от «воли равновесья». Впрочем, тут можно вспомнить и Державина: «Я царь — я раб — я червь — я Бог!» — и спросить себя, а мы-то сами всегда ли можем честно ответить себе на вопрос, кто мы? И всегда ли этот ответ будет совпадать с тем, который мы сами же считаем правильным?..

Летящей горюю за мною несётся Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду... Но когда-нибудь в Бездну сорвётся Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.

И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны — поэт, чародей,
Властитель вселенной, — тем будет страшнее паденье.

Человеку верующему невозможно чувствовать себя властителем вселенной — это место Бога. Гумилёв это хорошо понимал, но, тем не менее, противоречие между смирением и гордыней, между верой и безверием, между мягкостью и холодной жёсткостью всегда присутствовало в его стихах, делая Гумилёва предельно неоднозначным поэтом.

Всё чисто для чистого взора,
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора,
Я всё беспечально возьму.

Или:

Крикну я... Но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?

Противоречия переплетаются, создавая мир, в котором много боли. Читая Гумилёва, интересно наблюдать, как меняется его интонация в зависимости от темы. По балансу между простым, тихим, искренним голосом и пафосным, патетическим видно, что его волнует, что его ранит, — а что он воспринимает как родное, близкое, понятное. Чем больше у Гумилёва пафоса, тем больше за ним вопросов и скрытых страданий. В этом смысле Гумилёв — один из самых трагических поэтов Серебряного века.

Впрочем, поэзия — искусство настроения, и у других поэтов тоже можно встретить много примеров внутренних противоречий, сомнений, терзаний, и это не вызывает у читателя никаких вопросов. Только с Гумилёвым другой случай. Его поэзия изначально воспринимается более весомо, поскольку она очень эпична. В ней создаётся романтический образ автора — уверенного, последовательного, неуклонно идущего к своей цели. Но на самом деле Гумилёв гораздо больше и сложнее этой своей героико-романтической роли.

Его героика — приказ самому себе быть героем, клятва самому себе. Клятва, укрепляющая дух. Отсюда — характерная гумилёвская повелительная интонация, иногда доходящая до высокомерия:

Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров...

Даже обращение к природе у Гумилёва властное:

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездой,
Огнём пронизанной насквозь!

Это ощущение эпической торжественности жизни, когда будничное становится значительным. Не дела, а деяния, и время идёт не по календарю, но — от человеческого к божественному. Природа гумилёвской торжественности именно такова. С одной стороны, это отношение к жизни воодушевляет, проясняет её смысл и отделяет важное от мелкого. А с другой — создаёт серьёзное искушение потерять лёгкость, спонтанность. Слишком много самоконтроля, напряжения, усилий. Ещё бы — ведь жизнь, по сути, превращается в борьбу с собой.

Этому состоянию соответствует определённая форма стиха — отточенная, чёткая, как строевой шаг:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Гумилёв был прекрасно образованным, очень впечатлительным, тонко чувствующим человеком. И как тонко чувствующий человек, войну он столь односложно, разумеется, не воспринимал. Он видел её двоякую природу, и ужасы её знал не понаслышке, первым доказательством чему служит его проза... Но почему же он писал о войне *так*, словно стараясь превратить её в легенду, возвысить до эпических масштабов и в этой — эпической, древней, вселенской войне — занять своё место?

Ясно из первых же строк, что это не столько описание истинного состояния поэта во всей его неоднозначности, сколько декларация. Нет, ни в коем случае не фальшь — но попытка властью слова и собственной воли в полной мере привести себя к описываемому состоянию духа, исключить все другие состояния, эмоции, оставив лишь эту победоносную волю. Стихотворение — стремление, самовнушение. Таких стихов у Гумилёва очень много.

Поэтому при чтении иногда и возникает ощущение звонкости ради звонкости, когда «молоты громовые» заглушают истинный голос автора. Голос негромкий, не обладающий глубокой, осознанной, искренней уверенностью и вовсе не пафосный.

Именно за эту внешнюю торжественность Гумилёва навечно записали в героические романтики. Но всё не так просто. Если бы он писал только такие стихи, он, наверное, вовсе не был бы поэтом... У Гумилёва есть и другие стихи. Совсем другие. Например, «Ворота рая»:

Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный вход,
Он не манит блеском и соблазнами,
И его не ведает народ.

Это дверь в стене, давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возле нищий, словно гость непрошенный,
И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.

Все мечтают: «Там, у Гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия,
Прозвенит обетованный час».

Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Пётр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.

Здесь нет ни громкости, ни патетики. Только простой и вдумчивый взгляд глубоко верующего человека. И сердце читателя сразу раскрывается навстречу таким стихам — на фоне других, звонких, ярких... Причём ни те, ни другие не кажутся ложью. Ведь мы, читатели, и сами в жизни таковы. Если мы стремимся к чему-то, то уговариваем себя, поднимаем себе планку, и наши призывы и девизы для нас святы. Пусть иногда наивны и даже ошибочны, но святы.

Человек, умеющий быть честным с собой, это понимает. У него хватает смелости признаться себе в том, что всегда есть зазор между желаемым и действительным. Тогда напряжение уходит. Остаётся печаль — и надежда.

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что её легко погасить?

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.

Пронзительная искренность, и всё не по-героически, а очень по-человечески. После подобных стихов считать Гумилёва просто звонким певцом романтики и экзотики — непростительная слепота. При чём тут вообще романтика? Ведь суть его поэзии, так или иначе, в другом — в духовной работе. А всё остальное — будь то Африка, война, путешествия, сочинение стихов, переводы, преподавание и т.д. — лишь формы, в которых он эту работу совершал.

Гумилёв постоянно ищет Бога, одновременно пытаюсь разобраться с собой, подчинить духу, воле свои страсти и слабости, что оказывается изматывающе трудной задачей.

Кстати, его легендарная любовь к Африке, куда он не раз ездил, о которой много написал стихов и прозы, тоже во многом провозглашённая, точнее, придуманная им как легенда для самого себя. Африка его манила, притягивала, завораживала.

Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей —
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер.

Солнце клонит лицо с голубой вышины,
И лицо это девственно юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны
Золотые песчаные дюны.

Но Гумилёв любил Африку не так, как любят место, которому доверяют, в котором чувствуют себя комфортно и защищённо. В африканских путешествиях ему постоянно приходилось преодолевать себя, о чём он неоднократно писал. Вот, например, отрывок из его письма М. Кузмину: «Я в ужасном виде: платье моё изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспалён от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил её своим телом. Но я махнул рукой на всё. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжёлый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом». Напряжение воли, преодоление своих слабостей, постоянное, порой мучительное — и в этом не столько счастье, сколько повод для самоуважения.

Литературе присуща любопытная особенность: самыми захватывающими и пленительными для читателя оказываются рассказы о чём-то трудном и тяжёлом, об испытаниях, о преодолении. Читать книги о мирной жизни, в которой ничего не происходит, неинтересно.

В реальности это далеко не всегда настолько буквально. Но Гумилёв верил, что и жизнь тоже такова. Есть вечное противоречие между тягой

человека к покою, уюту — и необъяснимой, но мощной потребностью двигаться, преодолевать и расти. Пусть будет и психологически, и физически тяжело, пусть будут сомнения, страдания, опасности — всё это неважно, это надо преодолеть, переступить через свою слабость.

Вопрос только в одном: а что, какое начало в человеке стремится идти, бороться и преодолевать — душа или самолюбие?..

Себя спросить об этом стоит, но на деле духовная составляющая таких испытаний может вовсе не осознаваться — а внутренняя работа всё равно совершается. Помните «Туркестанских генералов»?

«Что с вами?» — «Так, нога болит».
— «Подагра?» — «Нет, сквозная рана».
И сразу сердце защежит
Тоска по солнцу Туркестана.

И мне сказали, что никто
Из этих старых ветеранов,
Средь копий Грёза и Ватто,
Средь мягких кресел и диванов,

Не скроет ветхую кровать,
Ему служившую в походах,
Чтоб вечно сердце волновать
Воспоминаньем о невзгодах.

Пережитые невзгоды дают опыт. Именно стремление к этому опыту, пусть и смутное, неосознанное, заставляет мальчишек мечтать о подвигах, толкает взрослых людей с насиженных мест в неизведанное, даёт им смелость и силу изменить свою жизнь, избавляет от страха перед трудностями. И ничто так не учит самообладанию, дисциплине и мужеству, как путешествия — будь то путешествия физические или странствия духа, с помощью книг или собственного воображения.

Георгий Иванов очень верно подметил в своих рассуждениях о Гумилёве: «Он твёрдо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом деле будет всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человеческие слабости — эгоизм, ничтожество, страх, — должен будет преодолевать в себе ветхого Адама. И от природы робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе быть охотником на львов, солдатом, награждённым двумя Георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархии, и то же, что со своей жизнью, он проделал над своей поэзией.

Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой не особенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзии её прежнее величие и влияние на души — быть звенящим кинжалом, жечь сердца людей».

По Гумилёву, духовная работа — это в первую очередь постоянное преодоление себя. Его главное качество, пожалуй, — привычка к борьбе. И с собой, и с обстоятельствами, и с женщинами.

Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

Но борьба, война по сути своей противоположна миру и любви. Совместить их нельзя, невозможно. А без любви и мира человек мучается и чувствует себя одиноким.

От гумилёвских стихов нередко веет пронзительным, нестерпимым одиночеством. И его письма, и воспоминания современников о нём свидетельствуют, что и в жизни он чувствовал себя очень одиоко.

Это одиночество — неизбежное, логичное следствие отношения к миру как к месту испытаний, а к своей жизни — как к средству доказать на деле собственные принципы. В таком мире есть место природе, Богу, пути, но нет места другим людям — точнее, другие не воспринимаются как равные. Они иные, непонятные и непонимающие, и даже любимая женщина «вечно и всюду чужая, чужая».

О, как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга!

Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко.

В привычке постоянно бороться и в нарастающей усталости от этой борьбы — источник двух очень важных привязанностей Гумилёва, которые дают его стихам ещё одно измерение и неповторимое обаяние.

Во-первых, это любовь к детству, отчётливая детская память:

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнувшие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: «Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!»

У Гумилёва много стихов о собственном детстве. И все они передают удивительное чувство единства с миром и с природой, которое, увы, так часто теряется, когда человек взрослеет.

А во-вторых, это любовь и тяга Гумилёва к душевному покою, к мирной жизни без битв.

Я часто думаю о старости своей,
О мудрости и о покое.

Недаром ему так нравились картины Фра Беато Анджелико, художника мягкого, тёплого, созерцательного, чьи произведения, как никакие другие, передают чувство внутренней тишины и любви. Этот художник по мироощущению противоположен Гумилёву — но противоположности притягиваются.

На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зелёной маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке, —

На всём, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не всё умел он рисовать,
Но то, что рисовал он — совершенно.

Вот скалы, рощи, рыцарь на коне.
Куда он едет, в церковь иль к невесте?
Горит заря на городской стене,
Идут стада по улицам предместий;

Мария держит сына своего,
Кудрявого, с румянцем благородным.
Такие дети в ночь на Рождество,
Наверно, снятся женщинам бесплодным.

И так нестрашен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый.
Им хорошо под нимбом золотым:
И здесь есть свет, и там — иные свету.

Гумилёв использует слово для выражения мысли, подчиняя его себе, но не вдохновляется словом, как, к примеру, Манделштам или Бродский. Поэтому любителям поэтического языка как такового, тем, кто ищет в стихах многогранность смыслов, тонкость формы, метафоричность, спонтанность, Гумилёв кажется не слишком интересным поэтом.

Но талант, а порой и гениальность Гумилёва — не в языковой форме, несмотря на то что он уделял ей столько внимания, — а на другом уровне, на уровне содержания.

Стоит обратить внимание на некоторые поистине уникальные темы его поэзии.

Путь, выбранный Гумилёвым, — воплотить в своей жизни поэзию и веру как неразрывное целое — был пройден им с максимально возможной внутренней отдачей и принёс свои плоды. В виде философских открытий, прозрений, откровений, вплоть до пророчеств.

Никто их поэтов так тонко и глубоко не описывал и не чувствовал время. Ощущение времени в гумилёвских стихах поистине невероятное. Поэт способен воспринимать любую эпоху, проникать и в далёкую древность,

и в будущее. Понимание времени, свойственное Гумилёву, вошло в моду — если так можно выразиться — гораздо позже. Чего стоит один мотив непрерывной жизни, ощущение, что человек живёт много жизней в разных эпохах и странах? Вот, например, удивительное место в стихотворении «Египет»:

Там, взглянув на пустынную реку,
Ты воскликнешь: «Ведь это же сон!
Не прикован я к нашему веку,
Если вижу сквозь бездну времён.

Исполняя царёвы веленья,
Не при мне ли нагие рабы
По пустыням таскали каменья,
Воздвигали вот эти столбы?

И столетья затем не при мне ли
Хороводы танцующих жриц
Крокодилу хваления пели,
Перед Ибисом падали ниц?

И томясь по Антонии миллом,
Поднимая большие глаза,
Клеопатра считала над Нилом
Пробегающие паруса».

Этот мотив встречается и во многих других стихотворениях Гумилёва. И в «Сонете», и в стихотворении «Стокгольм»:

«О Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если
Страна эта — истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зелёной и солнечной это стране?»

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времён,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещён.

Образ потерянного рая в своеобразной трактовке. Но и на этом нельзя поставить точку — с одной стороны, герой Гумилёва нередко чувствует себя одиноким и потерянным во времени и в пространстве, а с другой — и время, и пространство для него — всего лишь сон, а следовательно, и ощущение одиночества и потерянности кажущееся, ложное.

Мотив «дремучего сна бытия», сновидения, иллюзии в мире Гумилёва очень важен. Стоит вспомнить хотя бы поразительное стихотворение «Сон Адама», где Адам засыпает у Древа Познания и во сне проживает всю историю Земли вплоть до последнего дня, до «конца света», а потом — просыпается и обнаруживает, что он по-прежнему в раю и рядом — счастливая Ева... Ничего не случилось, а грехопадение и все пропешедшие века жизни в поиске, в труде, в войне, в одиночестве — это был только сон.

Тот же самый мотив — и в других стихах, например, в стихотворении «Прапамять»:

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.

Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят,
Потом волнующие губы
О счастье, кажется, твердят.

И вот опять, восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.

Когда же, наконец восставши
От сна, я буду снова я —
Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья?

Мировоззрение Гумилёва противоречиво и двойственно. Он то видит себя — совершенно по-романтически — центром мира, то воспринимает себя как обычного смиренного человека, одного из многих перед Богом. Но при том понимании времени, пространства и реальности, которое ясно просматривается в его стихах, получается, что это противоречие полностью устраняется — только не здесь, не в земном измерении, а в высшем, за пределами земного времени. Там, где здешняя явь — всего-навсего сон, и здешняя реальность — всего-навсего грёза. Туда и стремится всеми своими силами душа поэта, потому что там исчезает проблема мучительного выбора, и там проходит всякая боль.

Главная мечта Гумилёва-поэта — попасть в место, которое можно назвать раем, можно — Индией Духа (кстати, свободу межкультурных связей, актуальную сейчас, он отчётливо ощущал уже тогда, в начале XX века). Потому что только там найдутся ответы на все вопросы, примирение всех противоречий. Там, где всё абсолютно, — но не здесь, где всё относительно...

Понял теперь я: наша свобода —
Только оттуда бьющий свет.

Николай Гумилёв — поэт неоднозначный и загадочный. Поэтому вдвойне интересно, что при следующей встрече с его стихами откроется в отточенных строках.

Ведь каждый видит то, что в нём уже есть.

Мария ГОЛИКОВА

**«К НЕБЕСАМ
ВЕДЁТ ДОРОГА
ПО ЗЕМЛЕ...»**

* * *

По стихам из петербургской нищей тьмы,
По краям, где от суммы да от тюрьмы,
Не меняется от перемены мест,
Где с другой пересечётся — будет крест —

К небесам ведёт дорога по земле...
Ветер пасмурный испачкался в золе,
В небе тают грозовые облака,
Дождевой водой наполнена строка.

* * *

Звучание далёкое и тихое.
Но за мгновенье пропадёт покой.
Сомкнётся время с временем. Великое
Неслышно встанет рядом за спиной.

Застынет мир в тревожном ожидании —
Ничто не исчезает навсегда...
Закат янтарный. Сумрачные здания.
И под мостом свинцовая вода.

* * *

Нет уже ни пустынь, ни скиний.
Город, спящий среди веков.
А Луна освещает спины
Древнегреческих облаков.

Лунный свет заливают Трою,
Неживой, неподвижный свет...
Город мой, что будет с тобою
Через несколько тысяч лет?

* * *

Лицо на чёрно-белом фотоснимке,
Взгляд одинокий из иных времён,
Где слышен хрипловатый звук пластинки,
Поставленной на новый граммофон.

**Игорь
ГЕРГЕНРЁДЕР**



РЫБАРЬ*
Повесть

Игорь Алексеевич Гергенрёдер родился в 1952 г. в Бугуруслане Оренбургской области РСФСР, в семье выселенных во время войны и мобилизованных в Трудармию немцев Поволжья.

В 1976 г. с отличием окончил факультет журналистики Казанского университета. В литературе дебютировал в 1985 г. Проза печаталась в альманахах, в журналах и в коллективных сборниках бывшего СССР.

С 1994 г. живёт в Берлине. Автор пяти книг и более 50 публикаций в изданиях Русского Зарубежья и России.

1

Хлебных снопов уже нет, а летний их запах остался. В рубленом овине темно. Сизорин выбрался в предовинье, приоткрыл дверь. По большому крестьянскому двору проходят люди: к избе, к конюшне, к сараям. В свете луны взблескивает металл винтовок. Голоса незнакомы.

— А живо драпанули! — сказал один.

Другой:

— В Безенчуке настигнем! Пешкодралом да не спамши, не оторвутся.

Сизорин понял: батальон Народной Армии Комуца**, где он числился рядовым, спешно покинул деревню. Впопыхах его забыли. Изнурённый походом, несколькими сутками без сна, он непробудно заснул в овине. И вот в деревне красные...

«Господи, вызволи...»

Двор опустел, красные набились в избу. Можно бы выскользнуть, но возле конюшни топчется часовой: нет-нет мелькнёт огонёк самокрутки. Сизорин молит о спасении Христа, Богородицу, всех Святых. Повернул внутрь овина: не удастся ли вылезти через крышу? Вдруг с земляного наката над колосником:

— Тсс, земляк! Я — свой!

Всё как отнялось, винтовку не удержал: приклад больно ударил по ступне.

— Не двигайся! — приказав, кто-то бесшумно соскочил вниз, вырвал винтовку: — Отстал?

— А ты кто? — прошептал Сизорин.

Незнакомец сказал, что пробирается из мест, занятых большевиками, чтобы

* Повесть следует второй после повести «Грозная птица галка», в сборнике под общим названием «Комбинации против Хода Истории».

** Комуц — Комитет членов Учредительного Собрания. (Прим. автора.)

вступить в Народную Армию. Чуть-чуть её солдат не застал в деревне. Вошёл — а тут в неё красные въезжают. Укрылся в овине.

— Они путников вроде меня, призывных лет — мигом в распыл! — общил человек. — Тем более на мне — хромовые сапоги.

Крепко сжимает руку парня выше локтя:

— А ты дрыхнуть охоч! Я на тебя наткнулся, подле посидел, на накат залез — знай свистишь в обе дырки.

— Крыша соломенная. Разобрать, чай, можно? — бормочет Сизорин.

А толку? Попадут на соседний двор, а там тоже часовой. Лучше уж напрямки мимо избы. Но сперва михрютку украсть!

Сизорину впечаталось в ум неизвестное выражение — «михрютку украсть», — отнесённое, как он догадался, к часовому.

— При мне наган, а нужен твой винт! — человек поглаживает винтовку.

— И... чего?..

— Сними шапку, крестись! Будем надеяться.

Незнакомец отступил в темноту, и там вдруг страшно завyla собака. Сизорин, оторопев, присел на корточки. Невероятно тоскливый, душе-раздирающий вой, точно кто-то трогает сердце когтистой ледяной лапой.

— Цыц! Зар-рраза! — крикнул часовой от конюшни.

Вой сменился лаем, взвился вновь. Красноармеец приближается, матерясь. Сизорин, скорчившись, смотрит в чуть приотворённую дверь.

— Пшла-аа!! — рявкнул часовой, затопал ногами.

Тишина. Он высморкался на землю, сплюнул, повернулся. Не отошёл пяти шагов, как вой с бесконечно горестной, мертвящей силой стал ввинчиваться в уши. Приоткрылась дверь избы.

— Стрели ты её! Спать нельзя!

— Она в овине! — огрызнулся часовой. — Я туда заходить не могу — пост покидать. Пусть ротный скажет.

Вой не утихал. Минуты через две из избы крикнули:

— Ротный сказал — пальни!

Часовой шагнул к овину, щёлкнул затвор. Сизорин, отпрянув от входа, упал навзничь. Стегнул выстрел, в лицо отлетела щепка, отбитая пулей от косяка. Короткое, смертельно-унылое завывание — вспышка, грохнуло; овин наполнился пороховой гарью.

Сизорин ощутил на лице хваткие пальцы.

— Задело, што ль?

— Не-е... — парень приподнялся, сел.

Незнакомец прошептал в ухо:

— Теперь они или выскочат, или решат: второй выстрел тоже по собаке...

Сизорину в дверную щель смутно видно лежащее на земле тело часового. Стянул шапку, стал молить о чуде святого Серафима Саровского... Обрекающе стукнет, распахнувшись, избяная дверь, хищно резнут голоса, клацнут затворы...

Спутник неслышно скользнул из овина. Одолевая страх, сгибаясь до земли, Сизорин заспешил следом, сторожко, с вытаращенными глазами, на носках обежал лежащего. Его рука согнута в локте, будто бы прикрывая голову. Приторно-вяжуще, позывая на рвоту, пахнет кровью.

На всех лошадей места в конюшне не хватило, несколько привязаны снаружи. Покрытые потниками, опускают морды в кормушку, хрумкают сено.

— М-ммм... — дрожливо и больно от нетерпения замычал Сизорин, видя, что его товарищ вкладывает коню удила. Бежать, сломя голову бежать!

— Дурак! Пешие не уйдём, лесов нет, — полоснул яростный шёпот.

Минуты ползли терзающе, точно их, как верёвку, протаскивали сквозь сердце. Человек обронил как-то буднично:

— Без седла сможешь? — и вдруг прошипел: — Винт подбери!

Парень схватил винтовку убитого. Через миг дверь избы заскрипела. Луна задёрнута облаками, оживающий порывами ветер будто сгущает сырую студёную мглу. В темноте обозначилась фигура на крыльце. Оба присели за лошадью. Журчит струя, троекратно разносится протяжный громкий звук.

Фигура удовлетворённо крикнула, нырнула в избу.

— Это ротный был, — сказал незнакомец, когда они шагом, чтобы не услышали в избе, проехали двор, огород и оказались на выгоне.

— Почём знаешь?

— Любой другой усёк бы: чегой-то часовой на его пердёж шуткой не отозвался? А ротный знает: с ним шутить не посмеют.

Сизорин, восхищённый новым приятелем, спросил, кто ж эдак называет: «михрютка»? «винт»? Тот ответил: воры.

— Так ты... не вор ли?

— Переверни шестёрку вверх ногами! — загадочно, совсем сбив с толку солдата, сказал спутник.

2

Днём добрались до своих. Белые грузились в эшелоны — было приказано до подхода противника отбыть на Самару. Ротный командир, наспех выслушав Сизорина, бросил его товарищу:

— Езжай! Там разберёмся.

Уселась в теплушке на солому среди однополчан Сизорина. Его спутник — неказисто-худощёкий, в телогрейке, в заношенном пиджачишке, в кроличьей шапке — выглядит примелькавшимся мужиком, каких миллионы: разве что разжился, по случаю, хромовыми сапогами.

Себя он назвал:

— Ромеев, Володя.

Он уже знает, что Сизорин работал на пороховом заводе в Иващенко подносчиком материалов, в Народную Армию вступил потому, что красные расстреляли отца — старого мастера: подбивал-де к забастовке...

Вскоре после Октябрьского переворота большевики «посадили на голод» весь заводской посёлок Иващенко. Рабочим было предписано трудиться по двенадцать часов в сутки — за полтора фунта хлеба. Этого и одному — чтоб чуть живу быть, а семье? Собралась сходка — тысячи голодных, замученных: «Бастовать надо, товарищи!» А по товарищам, по безоружной толпе — товарищи комиссары из пулемётов...

Когда летом восемнадцатого провозгласилась в Сызрани белая власть, рабочие Иващенко «косяком пошли» в армию Комуча. Причём сорокапятилетних оказалось не меньше, чем юнцов вроде Сизорина.

В который раз взахлёб он рассказывает однополчанам, как удалось спастись благодаря редкостным хитроумию и изворотливости Ромеева.

Искаса поглядывая на него, доброволец Шикунов, вчерашний конторщик порохового завода, спросил:

— Так ли было?

— Совершенно обычно! — последовал ответ. — Дело-то в сыске известное. Когда ворьё хочет обчистить склад, завсегда манят михрютку «на лайку». Тут первое что? Чтоб он стрельнул и чтоб те, кто в домах, знали — стреляет он. Тогда сади в него! Подумают — это он по приبلудной собаке. Перевернутся на другой бок и задряхнут.

Ромеев со значительностью указал на Сизорина:

— А без него не вышло б! — Вынул из-под телогрейки револьвер. — Пульни я из этого нагана: любой баран отличит, что это не винт михрютки. А у малого оказался винт!

— Вы по прошлому-то... из сысского будете? — интересовался Шикунов.

— Именно — и притом, в политическом разрезе! — уточнил со смешком, как бы балагурия, таинственный человек.

Двери теплушки широко раздвинуты — проплывают кленовые лески с розово-жёлтой листвой, то и дело открываются луговины, где ещё вовсю зеленеет высокая густая трава. Ромеев, обняв руками поднятые к подбородку худые колени, следит за мелькающими видами с чутким, радостным интересом.

Шикунов хотел было снова задать ему какой-то вопрос, но перебил Быбин — степенный многодетный рабочий:

— Нету, выходит, сил у начальства? Теперь что ж — отдаём за здорово живёшь Иващенко? Хорошо — мои убрались к родне в деревню. Но дом-то остался... Вот вы, — обратился Быбин к Ромееву, — много, должно быть, шли через расположение красных. Жгут они дома у тех, кто с белыми ушёл?

В ответ раздалось:

— Я этим больно-то не любопытствовал, но видел — горят дома!

И человек закончил вдруг странно-приподнято:

— Оттого Расея — избяная, что искони ей гореть охота!

— Охота гореть? — переспросил сумрачно-медлительный, испитого вида Лушин, огородник из-под посёлка Батраки, и нахмурился.

Загадочный человек меж тем достал из-за пазухи потёртый кожаный бумажник, бережно извлёк из него небольшую цветную репродукцию — по-видимому, из журнала. На ней — красивый замок с башней, возведённый на холме подле реки.

В первый момент Ромеев смотрел на картинку, печально улыбаясь, но вот выражение сделалось надсадно-страдальческим, на ресницах заблестела слеза.

— И чего б мне не жить там?! — вдруг проговорил отрывисто, двинул нижней челюстью, точно разжёвывая что-то неимоверно жёсткое, причиняющее боль. — Но не-е-ет...

Лушин, важно-насупленный, усатый, притиснулся к Шикуну, прошептал ему в ухо:

— Придурошный или придуривается.

3

Утро 6 октября 1918. Состав стоит на запасном пути станции Самара. Солнечно, почти по-летнему тепло. Станция запружена добровольцами Народной Армии. Красные подступают к городу с запада, с юга, угрожая и ударом с севера. Белые начинают отход на Оренбург и на Уфу.

Гомон, суета, гудки паровозов. На перроне бабы торгуют варёной картошкой, воблой, малосольными огурцами, арбузами и другой нехитрой снедью. По двое проходят молодцы в тёмно-серых суконных френчах. Это вчерашние приказчики, лотошники, мукомолы, молотобойцы, ломовые извозчики. Сегодня они — в эсеровской дружине штаба государственной охраны. Наблюдают за порядком, главное же: выискивают предполагаемых «переодетых комиссаров», ведущих большевицкую пропаганду. Дружинники вооружены однозарядными винтовками «Гра». Франция, где они были сняты с вооружения треть века назад и загромождали склады, сбыла их России как союзнице в войне с Германией.

Ромеев побрился, расчесал на пробор длинные сальные волосы. Пройдя через вокзал на площадь, направился к дому начальника железной дороги, теперь занятому военной контрразведкой. Хмурый дружинник с двумя гранатами на поясе, держа тяжёлую винтовку на плече, будто дубину, заступил путь, нарочито лениво (для фасону) процедил:

— Куда прёшь, как на буфет?

— Важное дело! К начальнику контрразведки.

Дружинник поставил ружьё у ноги, знаком велел Ромееву приподнять полы пиджака, похлопал по карманам штанов.

— Следуй! — двинулся сбоку от пришельца, положив левую руку ему на плечо, правой держа «Гра».

Начальника военной контрразведки Онуфриева на месте не было, и гостя привели в кабинет поручика Панкеева. До германской войны Панкеев служил секретарём суда в Пензе и, хотя потом воевал в пехоте,

в армии Комуча сумел устроиться в контрразведку — на передовую его больше не тянуло.

Он сидит за массивным дорогим письменным столом, взирает на стоящего мужика. Тот заговорил неожиданно грамотно, с вкрадчивыми нотками:

— С девятьсот второго, с марта месяца, и до четырнадцатого года — если угодно, извольте проверить — служил, понимаете-с, секретным агентом... Москва, Петербург... Имел восемь наградений! Одно — за подписью его высокопревосходительства господина министра... — назвал фамилию сановника, в уважительной скромности понизив голос до шёпота.

— Действительно? — поручик пренебрежительно хмыкнул, скрывая заинтересованность. — Да вы садьте. — Кивнул на венский стул.

Гость, со значением помолчав и даже как будто собираясь кашлянуть, но не кашлянув, сел.

«Нос картофелиной, — отмечал Панкеев, — выраженные надбровные дуги. Зауряднейшая деревенская физиономия... если бы не проницательные глаза». Сказал скучно, как бы удостоверяя само собой разумеющееся:

— Желаете служить в контрразведке. Подтвердить награждения не можете...

— Увы-с! — пришелец рассказал, как после Октябрьского переворота скрывался от большевиков, с какими мытарствами добрался до белых.

— Но меня вполне могут тут знать, — поведал он с доверительной многозначительностью: — Вы, господин поручик, не правый эсер будете?

— В партиях не состоял и не состою! — сухо заявил Панкеев, спохватился и покраснел: он, офицер контрразведки, отвечает на вопросы какого-то субъекта. Огрубляя голос, со злостью на себя и на пришельца, спросил:

— Фамилия ваша или как там, чёрт, псевдоним?

Человек с достоинством произнёс:

— Исконная моя фамилия — фон Риббек!

Поручик воззрился на него в изумлении.

Помимо агентурного опыта, невозмутимо говорил гость, у него есть знания из книг о деле разведки и контрразведки: красные от его работы понесут страшный, невозполнимый для них урон.

— Да только, господин поручик, имеется загвоздочка: почему и спросил, не эсер ли вы... Эсеры, которые теперь у вас верховодят, могут мне за прошлое... вполне верёвку. Ведь против них работал-с. Возьмите меня служить, им не открывая. Для пользы ж дела!

Стараясь не выказать замешательства, Панкеев осторожно сказал:

— С моей стороны возражений нет. Вернётся начальник, я с ним переговорю о вас. А пока примите совет: вступайте в полк, в котором оказались. Когда вас вызовем, будет лучше, если явитесь уже солдатом.

И он написал записку командиру полка, рекомендуя принять добровольца на довольствие.

Ромеев в гимнастёрке из желтовато-зелёной бязи, опоясанный ремнём, лежал в теплушке на соломе. Под головой — скатка шинели. Ещё он получил медный котелок, русскую пятизарядную винтовку и два брезентовых подсумка с горстью патронов в каждом.

Добровольцы прогуливались вдоль состава или сидели на траве, что росла меж запасных путей, грелись на осеннем солнце. Другие отправились на привокзальную площадь.

В теплушку заглянул Лушин:

— Слышь? Ты, случаем, не хворый? А то вон амбулатория...

— Не нуждаюсь! — прорычал Ромеев.

Подошедший Шикунов благожелательно заметил:

— А на воздухе-то привольно... Вышли бы.

Лушин добавил, что на перроне из-под полы торгуют самогонкой. Ребята пошли: сейчас принесут «баночку».

Преданно сидя возле своего спасителя, Сизорин просяще потянул:

— Выходи, а? Дядя Володя... — Ему было неловко назвать сорокалетнего человека просто Володей.

Тот порывисто встал, выпрыгнул из теплушки.

— Ну ш-што они там мудрят?! Мне же работать надо, работать, работать!

Добровольцы переглянулись. Ромеев заговорил со злым возбуждением: да, он может с ними в пехоте быть, пожалуйста. Но большевицкие шпики — они ж кругом! Скольких он мог бы зацапать: с его опытом, с его «тонкостью». Для того и пробирался к белым, чтобы в контрразведке служить!

Лушин, не любящий тех, кто пренебрегает возможностью выпить, услышав к тому же, по его мнению, глупость, изобразил человека, который не позволяет себе насмешки, но удивлён безмерно:

— Чего они тут делают, шпики? Бомбу в вагон кинут? Не слышно было такого.

— А если они агитируют, — наставительно и, как всегда, приветливо произнёс Шикунов, — то дружина их берёт и в момент — за пакгаузы. Готово! На рассвете расстреляли двоих. Я ходил поглядеть: лежат.

Ромеев вскинулся в страстном негодовании:

— Кокнули невиновных, вполне могу сказать! Видал я дружинников этих. Ни в коей степени они подлинных лазутчиков не раскусят. А что те здесь делают — скажу...

В Самаре скопились основные силы Комуча, недавно передавшего власть Уфимской Директории. Отсюда эшелоны отходят по двум направлениям: на юго-восток, к Оренбургу, и на восток, к Уфе. Задача большевицкой разведки: узнать, куда больше войск отправляют? Если, скажем, на Уфу, то красные свои главные силы бросят на Оренбург, где белые слабее. Разобьют, а затем навалятся и на уфимскую группировку.

Ещё очень важно, до какой станции следуют эшелоны. Если до Кротовки — до неё три часа езды, — то узел обороны будет там. Чтобы её взять, красным придётся подготовиться, подтянуть новые войска. Если же эшелоны идут до Бугуруслана, то на расстоянии в двести вёрст до него серьёзной обороны белые не готовят. И, значит, большевики станут наступать ускоренно, не снимая частей с других участков.

— Вы через неделю-две, к примеру, вступите в бой. Будете драться — храбрей некуда. Но судьба боя уже сегодня решается, здесь! — Ромеев показал на составы, занявшие все пути, на толпящихся военных и разношёрстный люд.

Быбин закреплял пуговицу на запасной нижней рубаше. Откусывая нитку, степенно заметил:

— Неуж в нашей контрразведке про то не знают?

— Оно, конечно, как не знать, раз они — офицеры... — нервно поморщился Ромеев. — Но надо ещё лазутчика выследить! Кто на это годен — более меня?

5

Посетитель заинтриговал Панкеева. Вспомнилось, что недавно к ним в контрразведку обращался за вспомоществованием внушительного облика старик по фамилии Винноцветов — в прошлом один из высших чинов политического сыска. Бежав из Москвы от большевиков, он прозябал в Самаре в плохонькой гостинице рядом с вокзалом. Поручик послал за ним...

Винноцветов, огромный, обрюзгший, лет шестидесяти пяти господин с седыми «английскими» полубакаами, грузно, сдерживая кряхтенье, опустился в кресло.

— Фон Риббек, говорите? — в приятной задумчивости улыбнулся, вспоминая, потирая оживлённо белые руки с отёчными пальцами. — Это, знаете, хо-хо-хо, фигура! — И вкусно причмокнул, как гурман, толкующий об изысканном блюде. — Разгром эсеровской партии в девятьсот шестом-седьмом — какую он здесь сыграл роль! Его заслугу трудно преувеличить. Талант бесподобнейший!

— И... — Панкеев подавлял нетерпение, но любопытство прорвалось: — Он что же... в самом деле — «фон»?

Винноцветов одышливо захохотал, на морщинистом лице проступили налитые кровью прожилки.

— Барон, а? Не правда ли, курьёзно, кхе-кхе?.. — поперхав, перевёл дух. — Было доподлинно известно лишь, что его мать взаправду носила фамилию Риббек. В Москве, на Стромьнке, держала дом терпимости — из дорогих. И имела авантюрную, романическую интригу со взломщиком — несомненно, русских кровей. Сия пара произвела на свет нашего с вами знакомого.

Числился он Ромеевым — уж и не знаю, откуда взялась эта фамилия. Одна из кличек была — «Володя». Поскольку он обожал разглагольствовать о своём «благородно-германском» происхождении, ему у нас дали, по созвучию с Риббеком, и кличку «Рыбак». Но, по его мнению, слово «Рыбак» чересчур походит на «Риббек» и своим прозаическим смыслом, г-хм, оскорбляет «родовое имя». Характер-с! Настоял, чтобы «Рыбака» заменили на «Рыбаря».

— Экий формалист! — рассмеялся Панкеев, захваченный историей.

Рассказ продолжился:

— В одну зимнюю ночь — не без помощи, надо думать, конкурентов — дом госпожи, г-хм, с вашего позволения, «фон Риббек» запылал. Дама самоотверженно боролась с пожаром, простудилась, слегла и вскоре приказала долго жить.

Володе (если его в то время звали Володей) было лет двенадцать, он пребывал в приличном пансионе. Его родитель, как оказалось, не чуждый мыслям о сыне, забрал его оттуда, стал держать при себе, а на время наиболее многотрудных передряг пристраивал у каких-то знакомых. И довелось отроку, после латыни, после уроков всемирной истории, получать уроки уголовного дна...

Однажды его отца смертельно изранили свои же сообщники. Володя, уже юноша, выслушал, по его словам, от умирающего родителя заповедь. Это нечто романтически-революционное — не знаю уж, в чьём духе: Гюго или Леонида Андреева. «Сынок, — молвил коснеющими устами отец, — твоя мать погибла от рук тех, кто занимался одним с ней делом, и то же самое относится ко мне. Потому бесстрашно и беспощадно, до последнего издыхания, мсти всем преступникам! Просись на службу в сыск!»

Так наш друг стал агентом московского сыска. Позже упросил «поставить» его «на политических» — тут его дарования и развернулись...

— Упоминал о восьми награждениях, — вставил Панкеев.

— Не врёт! — подтвердил Винноцветов. — А сверзился он из-за гордости. Я получил новое назначение, а на моё место заступило лицо со связями, но знаний и способностей недостаточных. И, как водится, первую же свою ошибку прикрыло тем, что спихнуло вину на нижестоящих, в том числе, на Рыбаря. На него наложили взыскание, но виновный начальник позаботился, чтобы обиженный агент получил двойное месячное жалованье. Проглоти пилюлю с сахаром и будь доволен! Такое было всегда и всегда будет.

Но наш друг горд, как истинный, кха-кха, барон Вольдемар фон Риббек. Подал на высочайшее имя челобитную с описанием просчётов начальства, не забыв указать на собственные заслуги, да ещё и предложил рекомендации... Разумеется, вылетел с треском.

Винноцветов закончил рассказ размышлением:

— Поменялось многое... и, тем не менее: простят ли его эсеры? Партийные амбиции, к несчастью, продолжают торжествовать. Весьма будет жаль, коли повесят. Донельзя глупейший конец для столь замечательно-го лица.

6

Добровольцы сидели на траве, рядом вдоль вагона, ели из котелков кашу. Обед. До каши выпили самогонки. Лушин захмелел, лицо стало одновременно и бестолковым, и озабоченным. То и дело вперял взгляд в Ромеева. Наконец сказал:

— Я давеча с ротным со... беседовал. Его вызывали в штаб полка. На счёт... этого... тебя.

Ромеев перестал есть, в ожидании молчал, не глядя на говорившего. Тот рассудительно поделился:

— Я думал: упредить, нет? — Показал ложкой на Сизорина: — Вот он — безотцовщина. Ты его от смерти увёл! Я со... сострадаю. А то б не упреждал.

— И что ротному в штабе сказали? — спросил Шикунов.

— Нехорошее, — Лушин увидел в ложке с кашей кусочек варёного сала и с удовольствием отправил в рот. — Заарестовать могут его, — кивнул на Ромеева.

Еда заканчивалась в молчании. Сизорин сидел сбоку от своего спасителя, посматривал на него страдальчески, точно на умирающего в мучениях раненого, прижимал локоть к его локтю.

Шикунов, упорно называвший Володю на «вы», обратился к нему:

— Вы бы разъяснили нам...

В ответ раздалось:

— Чё долго суп разливать? Дела старые. Но сейчас всё по-другому! Как мне ещё молиться, чтоб дали поработать, а уж после считались?

Было решено послать в штаб Быбина. Ему там доверяют: расскажут...

Ромеев лёг навзничь прямо на тропинке меж запасных путей. Чтобы его не тревожили, Сизорин встал подле. Солдаты из других вагонов обходили лежащего, не придираясь, не задавая вопросов; понимали: без причины никто эдак не ляжет. А причина сама разъяснится.

Вернулся замкнуто-напряжённый Быбин, не спеша полез в теплушку. Остальные последовали за ним. Быбин, никому не отвечая, дождался Ромеева и как бы выговорил ему:

— В прежнее время ты каких-то эсеров под казнь подвёл? Ожидают самого Роговского. Он под Самарой, с проверкой. Начальник высокий. Прибудет, ему скажут, и он, надо понимать, велит тебя накрыть. Ротный поведёт в штаб: вроде б, чтоб ты рассказал, как вы с Сизориным от красных ушли. А в штабе будут наготове...

Добровольцы дружественно теснились вокруг Володи. Чувствовали: с ними не ловчит. За сутки, что он провёл среди них, ощутили: не корысть заставляет его так переживать. А что чья-то смерть на нём — теперь такое не в диковинку.

— Делов тобой, кажись, наделано, — снисходительно упрекнул его Быбин. — Но ты это прекратил — взялся красных убивать. Нам польза.

Вот и начальник штаба говорит: нашли, когда мстить. Не нравится ему это. И правильно.

Кругом взволновались: а то нет?! Человек сам пришёл, сам открылся — и нате!..

Шикунов предложил Володе:

— Вам бы скрыться...

Это подхватили.

— Печалуюсь я... — Ромеев произнёс слово «печалуюсь» с таким горьким, болезненным выражением, с каким мужик говорит об утрате коня. — Об одном-едином печалуюсь: шпионам полная воля и возможность!

Выдохнул жарко:

— Желаете, докажу? Всё равно ж на месте сидите.

7

Пойти с Володей решил человек семь-восемь. Он оправил гимнастёрку, прихватил винтовку — солдат, каких масса вокруг.

На станции Самара — шесть платформ, откуда то и дело отходят составы с войсками. Около часа Ромеев и его команда ходили в толчее по платформам. Кое-кому это наскучило, с Володей остались четверо. Его шёпот заставил их замереть:

— Определённо! — отчётливо и непонятно прошептал он, указал взглядом на высокую миловидную барышню в шляпке с вуалью, в перчатках. Она спрашивала офицера, какой полк погрузился в эшелон, куда следует. Ей нужно — объяснила — разыскать прапорщика Черноярова.

Молодой офицер любезен. Хорошенькой незнакомке так приятно угодить! Мадмуазель не знает, в каком полку служит прапорщик Чернояров?

— Ах... я не разбираюсь... кажется, в Шестом...

Офицер улыбается: разумеется, мадмуазель и должна быть беспомощной в подобных вопросах.

— Шестой Сызранский сегодня уже отправлен в оренбургском направлении.

О, как жаль! Барышня расстроена. Прощается. Пошла.

Ромеев «отпустил» её шагов на пятнадцать, неторопливо двинулся следом; спутники — за ним. Она, обронил негромко, уже им попадалась: на второй платформе и на четвёртой.

— Правильно, — подтвердил Быбин, — припоминаю.

Лушин с недоверчивостью возразил:

— Барышень тут немало.

— Ну, я-то не спутаю! — обрезал его Ромеев. Доказывал вполголоса: — Зачем ей: что за часть? куда? Офицерики рады потоковать: тетер-рева! И не вдарит в башку: не знаешь, в каком полку служит, чего ж спрашивать — какой полк грузится да куда едет? Мокрогубые! По виду, по обхождению, она — ихняя. Каждый представляет свою: эдак, мол, и его бы искала. С того языком чешут.

— В дружину сдать бы... — заметил Шикунов.

Володя оборвал:

— Погодь! Я взялся доказать — и я вам докажу безусловно! Не её одну подсёк. Ещё «лапоть» один тыкался...

Послал Сизорина приглядывать за барышней, с остальными поднырнул под стоящие поезда. Вышли на третью платформу, потолкались.

— Вот он! — бросил Ромеев. — Подходим неприметно, порознь.

Пожилой бородатый мужичонка в лаптях, с набитой кошелёвкой, маячил перед составом, на который погрузили сорокачетырёхлинейные гаубицы и упряжных лошадей. Подойдя к субтильному курносому юнкеру не старше восемнадцати, спросил:

— Господин, это будет не Пятый ли полк?

— Нет.

— Сынок у меня в Пятом Сызранском. По своей охоте пошёл! А я на работах был в Мелекесе, не привелось и проститься. А добрые люди скажи: в Самаре ещё Пятый-то. Привёз, чего старуха собрала...

— Пятый Сызранский полк — во Второй дивизии, — сухо сообщил юнкер.

— А это какая?

— Другая.

— На Уфу едете? Я чего спрашиваю-то. Охота, чтоб сынку выпало — на Уфу. Там места больно хлебные. И коровьим маслом заелись. Вам, стало быть, туда? Счастье, коли так...

Юнкер важно прервал:

— Вы рискуете жизнью! — ему впервые выпал случай «сделать внушение». — Вы — в расположении Действующей Армии, здесь нельзя вести расспросы! Приехали к сыну, а ни его не увидите, ни домой не вернётесь. Вас могут р-р-расстрелять на месте!

— Спаси, Святители... — мужичонка низко поклонился; крестясь, засеменил прочь.

Ромеев послал Шикунова следить за ним. Пояснил: для «полного букета» надо ещё «мальца» посмотреть — давеча приметил. Должен где-то здесь крутиться.

«Мальца» нашли на шестой платформе. По виду — уличный пацан лет четырнадцати. Переминаясь с ноги на ногу, разговаривал с добровольцем, на котором военная форма висела мешком. Лет около тридцати, с интеллигентным лицом, в пенсне — по-видимому, учитель. Парнишка спрашивал его, указывая на эшелон с пехотой:

— Дяденька, это на Уфу? Я батю ищу! Сказывали — его на Уфу. Какой полк-то? Мой батя в Сызранском...

Доброволец вежливо ответил: полк — Седьмой Хвалынский, следует в сторону Оренбурга.

— Не до Павловки? Сказывали, там биться насмерть будут. За батю боязно. Мать хворающая лежит, какой день не встаёт...

На плечо мальчишки легла рука Ромеева.

— Здорово, Митрий!

— Ванька я, — зорко взгляделся в незнакомого военного.

— Отец, говоришь, следует на Уфу? А сам боишься, что его убьют под Павловкой. Направления-то разные.

У паренька в руке — бумажный свёрточек. Протянул:

— Крестик серебряный на гайтане. С иконкой! Святой Михаил Архангел! Мать наказала отца найти — передать...

— Идём к отцу! Ждёт, говорю! — Ромеев взял пацана за запястье. Сообщил добровольцу: — Украл крестик только что. У контуженного взял обманом.

Солдат в пенсне остался стоять — с выражением растерянного недоверия.

Мальчишка пронзительно вскричал:

— Люди добрые! Караул!! — Тут же смолк от жгучей боли в руке.

— Сломаю грабельку! — раздалось над ухом.

Быстро шли сквозь толпу.

— Воришка это! Воришка! — внушительно охлаждал Быбин тех, кто порывался вступить. Ромеев велел ему отвести «шкета» к багажному помещению вокзала, ждать там. Лушина послал найти Шикунова: вдвоём они должны взять «лаптя», тоже доставить к багажному.

— Я туда же бабёнку приведу! — шепнул Володя, побежал.

От багажного вели троих. Хорошо одетая барышня возмущалась:

— Позовите офицера! Это — своеволие пьяных!

Мужичонка в лаптях молился вслух. Паренёк помалкивал. Спутники Ромеева с винтовками наперевес окружали группку, сам он шёл впереди с наганом в руке, покрикивал:

— В сторонку! Контрразведка!

Из вокзала запасным ходом вышли на мощёную площадку. От неё начинались тянувшиеся вдоль железнодорожного пути пакгаузы, сколоченные из пропитанных креозотом балок, обращённые дверьми к поездам. Позади пакгаузов неширокой полосой протянулся замусоренный пустырь. Железная решётка отгораживала его от палисадника и городских строений. На пустыре никогда не высыхали зловонные лужи, попадались трупы кошек, собак. Небольшая его часть посыпана песком. На нём темнеют круги запёкшейся крови. Одни чернее: кровь уже гниёт. Другие — свежие.

— Двоих нонешних убрали, — сказал Шикунов, и все пришедшие посмотрели на стену пакгауза, густо испещрённую отверстиями: множество пуль глубоко ушло в толстые твёрдые балки.

— Опомнитесь! Образумьтесь! — страстно убеждала барышня, сжимая кулаки в перчатках, вздымая их перед лицом. — Мой отец — большой начальник, глава земской управы! Вас неминуемо накажут, неминуемо...

«Лапоть» заорал неожиданно зычно:

— Православные, покличете начальство! — он обращался к зрителям, что скапливались за оградой в палисаднике. К расстрелам привыкали, публика уже не валила — собиралась неспешно.

— У меня сын в Народной Армии, сын свою кровь льёт! — Мужичонка бросил кошелёку наземь, крестясь, упал на колени: — А эти меня убивают...

Ромеев подмигнул Быбину, Шикунову, рывкнул на барышню и мужика:

— Тихо, вы! С вами разберёмся. Но этого... — Рванулся к парнишке, — мы сей момент... шпиона!

— Ничем не виновный я! Сжа-альтесь!

— Говоришь, крестик на гайтане... а?! Мать наказала отцу передать... а?! А чего ж сама, когда его провожала, не навесила ему гайтан?

— Отец в прошлом годе ушёл от нас, — плача кричал мальчишка, — мать хворая лежит...

— Год, как ушёл, а откуда ж ты знаешь, в какой он полк поступил?

— От людей! Мы про него всё зна-ам...

— На слезу бьёшь! — рычал Ромеев. — Мать хворая лежит, отец вас бросил... она его всё одно жалеет, гайтан передаёт... Определённо — на слезу! Под этим видом выманиваешь о войсках, шпионишь. — Потащил визжащего к стенке.

— Дяденька, не на-адо! А-аай, не на-адо!!

— Умр-р-ри-и! — Володя прицелился из нагана.

— Стой, скажу! дай сказать... — мальчишка протянул руки, — вон она, — показал на барышню, — Антонина Алексевна: её слушаюсь! А этот — вишь, оделся! А то был в пинжаке, в сапогах...

Ромеев опустил револьвер, левую руку положил «мальцу» на голову.

— Не ври мне только. Где встречаетесь?

— На Шихобаловской, в прачечной у китайца. Линьтя — его зовут. Дразнят: дядя Лентяй. А велено его звать: Леонтьев. Она — главное. Меж собой её зовут: товарищ Антон. А этот — он недавно прибыл. Его зовут Староста.

Быбин и Шикун, переглянувшись, потрясённо молчали, держа винтовки так, точно вот-вот на них нападут. Они доверяли Ромееву, но что задержали троих не зря — в это верили не до конца.

И вдруг — эти слова «шкета»...

— Ложь! Мерзкая ложь! — остервенело кричала барышня: в голосе звенела сталь.

«Лапоть» завывал:

— Оговорил, беда-аа...

Лушин пихнул его прикладом в живот, левой рукой толкнул так, что мужичонка, отлетев, упал набок.

Ромеев спросил мальчишку:

— Разведку собранную они как отсылают? Не с голубями?

— С голубями! Пацан, постарше меня, с отцом занимаются. Отца по-чудному зовут — Алебастрыч. На Садовой, у Земской больницы живут.

— Срочно надо в контрразведку, — с затаённым — от ошеломления — дыханием, со странно-умилённым видом выговорил Шикунов. — Это целое подполье работает...

Задержанных повели. Женщина, охрипнув, со слезами ненависти выкрикивала:

— Вы неминуемо заплатите! За меня есть кому вступиться...

8

Как только вошли в кабинет Панкеева, барышня бросилась к нему, заламывая руки:

— Господин офицер! Мой отец — председатель земской управы!.. в Новоузинске... расстрелян красными! Мы с мамой спаслись в Самару, я ищу моего жениха — прапорщика Черноярова, он в Народной Армии с первого дня...

Привлекательная внешность незнакомки, её слова о папе, её слезы заставили Панкеева предупредительно вскочить, усадить мадмуазель в кресло. Он налил ей из графина воды, стал со строгостью слушать Ромеева, Быбина, Шикунова... Он понимал — разведчики могут изощрённо маскироваться, и тем не менее то, что эта барышня — большевицкая разведчица, в первые минуты представлялось неправдоподобным.

Да и вообще невероятно: человек, пусть в прошлом и даровитый агент сыска, едва оказался на станции, как тут же сразу поймал трёх лазутчиков.

Вероятнее было, что сметливый, ловкий тип на этот раз прибегнул к трюку, чтобы отличиться и застраховать себя от мести эсеров: вбил солдатам-пентюхам, что эти трое — шпионы.

Панкеев неприязненно бросил Володе:

— Нам о вас уже всё известно! Человек вы, кажется, неглупый. Но, — засмеялся издевательски, — не там ищите дурее себя. Не там!

— Господин поручик, не об нём разговор! — вмешался Быбин. — Вы этих проверьте.

Барышня, обежав огромный письменный стол, за которым сидел офицер, пригнулась за его спиной, будто на неё вот-вот набросятся и растерзают, — зарыдала, захлёбываясь:

— Я ни в чём не виновна! Мне к... генералу! Я обращусь... Папа расстрелян красной сволочью...

Напирал на поручика и «лапоть», выкладывая из кошёлки на стол каравай хлеба, шмат жёлтого сала, глаженные портянки:

— Извольте проверьте! Сын у меня доброволец! Сыну привёз... со всей душой против красных, а меня виноватят...

— Ладно! — раздражённо остановил Панкеев.

Шикунов, доброжелательно улыбаясь, негромко, но настойчиво высказал:

— Пареньку бы сделать допрос.

Мальчишка, бледный, заплаканный, стоял напротив стола, впивался взглядом в лица барышни, Ромеева, офицера.

— Напугали тебя? — спросил Панкеев.

— Мало что не убили, — вставил мужик.

Панкеев с начальственной благосклонностью уведомил подростка:

— Бояться не надо. Если ни в чём не замешан, тебя не накажут.

— Конечно, не замешан, господин офицер! — вскричала барышня, глядя в глаза пареньку.

Поручик счёл необходимым прикрикнуть:

— Пра-ашу не вмешиваться! — И обратился к мальчишке: — Повтори всё, что ты давеча рассказал.

Тот протянул серебряный крестик и образок на плетёном шнурке.

— Мать наказала гайтан отцу передать... Сказывали, отец в Сызранском полку...

— О знакомстве с этими двумя людьми повтори! — потребовал офицер. — Что ты рассказывал о месте встречи, о китайце?

Мальчишка заревел:

— У-уу! Не убивайте... со страху вра-ал...

Кто-то из солдат фыркнул:

— Ну-ну...

— Со страху так не врут! С именами, с кличками: и всё — в один момент! — заявил в упрямой убеждённости Быбин. — Не-ет. Вы его без них допросите. И агентов с ним пошлите к китайцу, к голубятникам.

— Учить меня не надо! — перебил Панкеев, понимая с обидой, что не мог бы придумать ничего умнее предложенного солдатом.

Опять кричала барышня: о расстрелянном красными отце, о том, что пожалуется генералу. «Лапоть» упорно толковал о сыне, который «по своей охоте против красных пошёл». Шихунов, Лушин поддерживали Быбина. Сизорин пытался что-то сказать в защиту «дяди Володи». А тот — весь подобранный, с потным лицом — стоял недвижно, следил за офицером, как невооружённый человек, встретив в лесу волка, следит за ним: кинется или зарысит своей дорогой?

Панкеев, чей взгляд на дело изменился, приказал всем выйти в коридор, оставив Ромеева. Поручику весьма не понравилось, как барышня смотрела в глаза мальчишке, крича, что он ни в чём не замешан: словно внушала. Не верилось, что тот со страху выдумал про китайца, голубей, сочинил клички. Замечание Быбина на этот счёт было неопровержимо. Подозрительным казался и мужичонка в лаптях: чересчур складно, прямо-таки заученно, твердил о сыне — и чересчур смело.

Этими тремя следовало заняться.

Но... всё меняла личность Ромеева. Что если начальствующие эсеры набросятся на него, своего давнего ненавистного врага? А трое... разумеется, невиновны! — раз их обвиняет Ромеев.

Поручик сказал ему доверительно:

— Каждую минуту ожидаем Роговского. К пакгаузам сведут вас! Понимаете? Или повесят, на водокачке.

У Володи сузились зрачки:

— У вас одни эсеры верховодят? А офицеры? Неуж не вникнут, что я — нужный, не отстоят меня?! Я ж к вам с этой надеждой пробирался...

— Здесь, в городе, власть у эсеров, — в словах Панкеева прозвучало сожаление. В душе он был кадетом, эсеров не любил, считая их утопистами, притом, кровожадными. — Тебе надо на фронт, в боевую часть, — перешёл он на «ты», — к Каппелю, под Нурлат. Каппель тебя не выдаст. Немедля и отправляйся.

Сказав это, удивился себе: чувствовал странную симпатию к Рыбарю. Тот горячо зашептал:

— Мне уйти — пустяк! Хоп — и нету меня! А шпионам — воля? Вы ж сами поняли их. Я вижу!

— Пойми ты меня! — так же возбуждённо заговорил Панкеев. — Арестую — а их выпустят. У меня будут большие неприятности, почему не тебя, а их схватил.

Ромеев вдруг выбросил левую руку и стал зачем-то тыкать себя в грудь указательным и средним пальцами:

— Смотрите вот, господин поручик! Смотрите! Не для себя ж я вас умоляю — в работу их взять! Вся организация ихняя будет у вас в руках. Для кого я стараюсь?! Какая мне-то прибыль?!

Офицер решил:

— Сделаем так: отведёте их к воинскому начальнику. Это за площадью. Расскажите ему всё, что и мне. Только про меня не упоминайте. Может, он их задержит. Пришлёт ко мне посыльного — а я начальству доложу о них так, чтобы ты не фигурировал. Больше ничего не могу. И давай уматывай отсюда!

Когда вышли на привокзальную площадь, Ромеев обронил:

— Сперва в ту сторону, к нужникам!

Барышня продолжала громко возмущаться, не желая идти. Володя, с револьвером в руке, встал к ней вплотную, приблизив окостеневшее в бешенстве лицо к её лицу:

— Идите!

Она отскочила и пошла. Около дощатых выбеленных известью уборных Ромеев остановил задержанных, кивнул на нужники:

— Кому не надо — не неволим, — мигнул Быбину, Шикуну. — А мы заглянем.

Вошли в уборную, оставив с арестованными Лушина и Сизорина. Володя передал разговор с Панкеевым, с мрачной сосредоточенностью сказал:

— Воинский начальник их отпустит. Бабёнка борзая — как начнёт вопить, что в контрразведке они были и там их не задержали...

Быбин взгляделся в Ромеева:

— Ну, что надумал-то?

— Да! Именно так и нужно сделать! — непонятно, с решимостью отрубил тот. — Учёные люди обозначают: лакмусова бумажка. Иначе сказать: выйдет то, против чего и рогатый не пойдёт!

Убеждал спутников сделать по его, не расспрашивая: позже объяснит. Они, обменявшись взглядами, согласились.

Задержанных провели к поездам, двинулись вдоль пакгаузов: на этот раз мимо их дверей, обращённых к железнодорожному полотну. Шли узкой полосой: слева — двери, справа — рельсы, по которым проплывают паровозы, с оглушительным шипением выметывая пар, тяжело погромыхивают составы.

Володя заглядывал в отделения пакгауза, откуда уже вывезли грузы, позвал:

— Сюда!

Здесь пол толстым слоем покрывали опилки: очевидно, раньше тут хранилось что-то, содержавшееся в стеклянной таре.

Ромеев вдруг принялся заталкивать арестованных в помещение, как-то по-дурачки ухмыляясь и норовя кольнуть штыком:

— Посидите, отдохните! Пуцай вас другие отсель заберут. А мы своё исполнили. Нам по вагонам пора — уходит эшелон.

— Дуб-бина! — вырвалось у барышни.

Заперев дверь наружным засовом, Володя отвёл друзей на десяток шагов.

— Погодите — как интересно станцуется! Тогда против никто, ни в коей мере и степени, не пойдёт...

Спутники не понимали. Он веско пообещал:

— Увидите!.. А покамест, ребята, мне надо улепетнуть. Не то...

Из облака паровозного пара возникли дружинники с ружьями «Гра». Один, сегодня уже встречавшийся с Володиёй, упёр ствол массивной винтовки ему в живот.

— Заискались тебя. Следуй за нами!

9

В кабинете начальника военной контрразведки Онуфриева густо пахло воском. Хотя с часу на час ожидалась эвакуация, привычные к делу служители, много лет наводившие чистоту в здании, натёрли паркетные полы до блеска.

Приземистый, с жирным загривком Онуфриев беспокойно прохаживался позади письменного стола, чутко поглядывая на господина, что сидел на кожаном диване у стены. Господин был приятной наружности, с твёрдой линией рта. Одет во френч и галифе защитного цвета, обут в щегольские шевровые сапоги; нога закинута на ногу. Это Евгений

Роговский — министр государственной охраны Комуча: антибольшевицкого правительства, сформированного эсерами в Самаре.

Из приёмной донесли шаги, три дружинника — двое по бокам, один сзади — ввели Володю. Лицо Роговского — пожалуй, излишне подвижное для человека власти, — выразило ужас. С выпукло-суровым трагизмом прозвучало:

— Я узнаю его! — министр указал взглядом на пространство перед собой: — Поставьте его здесь!

Опытный боевик и конспиратор в прошлом, человек внутренне довольно холодный, Роговский имел склонность к актёрству.

Когда дружинники исполнили его приказание, он, продолжая сидеть на диване, аффективно разъярился, вскинув подбородок и «прожигая» задержанного взглядом:

— Какую теперь носите личину? Клявлин Кузьма Никанорович, из крестьян, — отчеканил, демонстрируя памятьливость на легенду, с которой когда-то предстал перед ним агент. — По наущению сельских богатеев, был подожжён ваш амбар — мать погибла на пожаре. Вскоре мироеды свели в могилу и отца. Вы, обездоленный сирота, мыкали горе, пока вам не открылся смысл слов: «В борьбе обретёшь ты право своё!»

И тогда вы пришли к нам, к эсерам. Просились в Боевую Организацию. Вас приняли как брата...

Я отчётливо помню январь девятьсот пятого, нашу встречу в Вырице. Я проговорил с вами всю ночь. Вы представлялись мне одним из лучших в группе Новоженина — в самой опытной, в самой сильной из наших групп!

Вы выдали её... Вы провалили москвичей, киевлян...

— Казанских товарищей добавьте, — со странной улылкой сказал Ромеев. — И то будет не всё. Ржшепицкое с пятью боевиками в Воронеже взяли — тоже благодаря мне. А склад пироксилина в Таганроге, в самую решающую для вас минуту, полиция открыла — моя заслуга-с!

Роговский задержал дыхание:

— Подозрение тогда пало на Струмилина...

— Как же-с. От меня оно и пошло. Я «улики» дал. Проглядели тогда, Евгений Фёдорович? — спокойно говорил бывший агент, стоя с заведёнными назад руками.

— Над Струмилиным был исполнен наш приговор... — вырвалось у поражённого Роговского.

Задержанный насмешливо, свысока бросил:

— А кто вам велел хапать наживку? Взятась щука карасей глотать, умей и леску увидеть.

— Вы что себе позволяете? — вмешался Онуфриев. Он с ушлой цепкостью следил за встречей, выбирая момент, чтобы выгодно показать себя перед эсеровским руководством.

В германскую войну полковник Онуфриев был в тылу, командовал гарнизоном крепости в Туркестане. Октябрьский переворот лишил

службы, лишил жалования, на которое жили он с женой и четверо детей. Выступление чехословаков против красных в конце мая 1918-го застало полковника в Самаре. Ему повезло получить место начальника наспех созданной белыми контрразведки. Новой службой он не «горел». Главное: обеспечить семью. Все его старания направлялись на то, чтобы не вызвать недовольства вышестоящих лиц, не потерять должность.

— Потрудитесь держать себя в рамках! — адресуясь к Ромееву, рассерженным гулким басом крикнул полковник, сытое, с увесистыми брылями лицо набрякло гневом; распекать он умел.

Роговский был в бешенстве и в растерянности от того, что сказал ему бывший агент сыска, и взглянул на полковника с благодарностью. Тот своим вмешательством помог ему не сорваться на проклятия, отчего в выигрыше оказался бы Ромеев. Министр подавил позыв вскочить с дивана и с пафосом обратился к Онуфриеву:

— Вы наблюдаете, Василий Ильич, одно из порождений мерзостного дна расейской жизни. То, что может показаться смелостью, — всего лишь безудержное нахальство естественного, так сказать, органического хама. Его дерзость — только привычная роль, не играть которую он не может, потому что ничего другого у него попросту нет. Под этой личиной прячется существо, готовое за мзду вылизать чужой плевок! Алчность его такова, что порой заглушает в нём инстинкт самосохранения. Я уверен, он сейчас не думает о том, что его ждёт казнь. Он озабочен тем, как бы набить себе цену и продать нам подороже свои агентурные возможности.

Роговский смерил Володю взглядом, о каких говорят: полон высокомерной злобы и отвращения.

— Он уверен, что в силу кровавой, пока неудачной для нас войны мы не разрешим себе отказаться от его услуг, не позволим роскоши расплатиться с ним...

— Вероятно, — Евгений Фёдорович, некрасиво скашивая рот, усмехнулся, — теперь он уже понимает свой роковой просчёт... Сейчас вы увидите, — адресовался к Онуфриеву, — преобразование подлица. Слезы искреннейшего раскаянья, мольбы...

Володя прервал:

— Не дожидаться! — его голос стал вьедливо-скрипучим: — Никому не дожидаться, чтобы Ромеев фон Риббек, — выговорил чётко, с нажимом, — перед кем-то склонялся!

Дружинники схватили его за руки, он, не вырываясь, смотрел то на полковника, то на сидящего на диване.

— Моей матери, чтоб прожить, пришлось публичный дом содержать... Отец мой — убойца сиречь убийца! Но мой род — не со дна-ааа! — протянул «а» экзальтированно, точно в религиозном воодушевлении. — Род мой — издалё-о-ока!

Он пытался запустить руку во внутренний карман пиджака, дружинники не давали. Наконец один, поймав кивок Роговского, полез сам

Володе за пазуху, достал бумажник, раскрыл — на пол полетела журнальная картинка с видом живописного замка. Парень, подняв её, подал министру.

— Вот в таком поместье родительском, в Германии, моя мать родилась... — с надрывом проговорил Ромеев, он так и тянулся к картинке. — Козни боковой родни — не теперь про них разъяснять — довели до того, что мать не получила наследства, отправлена была в Россию и, ради куска хлеба, должна была прибегнуть к нечистому промыслу...

Погибла она по правде-истине оттого, что спасала от пожара — но не амбар, а дом!

Про отца поясню также. Мой отец Андрей Сидорович, приёмный сын чиновника Ромеева, несмотря на добро и ласку приютивших людей, стал грабителем. Как тому должно было быть, в одну из ночей от своих же воров получил смертельные раны ножом...

— При таких жизненных оборотах, милостивый Евгений Фёдорович, — всеми силами старался не сорваться на крик Володя, — вы знаете, не мог я не жить в полной и доскональной обиде — но на кого-с? Будь я привычный вам расейский обиженный человек, то взаправду пришёл бы к эсерам с мстительной жаждой — подрубить столпы отринувшего общества, убивать министров, губернаторов... Тем более, вы знаете, можно было б не в метальщики бомб, а в сигнальщики пристроиться и вполне уцелеть после акта, и в радостях потом себе не отказать: партия-то была при деньгах несчитанных...

— Но я, — надменно произнёс Ромеев, — человек прирождённо не привычный!

10

Роговский едко улыбался. Он как бы «угощал» Онуфриева «фон Риббеком». Полковник стоял обочь стола, то почтительно взглядывая на министра, то — уничтожающе — на речистого арестанта.

— Я не к царю, не к обществу, — говорил тот, произнося слова «царь» и «общество» с неописуемым пренебрежением, — я к Создателю обратил мои вопросы обиды! Ты меня, спросил я Создателя, — наказал?

— И какой же вы услышали ответ? — ядовито зацепил Евгений Фёдорович.

— Я услышал — не буду сейчас всего поминать, — но через мои же мысли услышал: если я такой, какой я есть — с умом, с ловкостью, с богатыми чувствами, — и это всё понимаю — то уже по тому видно, что никак Создателем не обижен, а щедро оделён. И спасибо Ему должен сказать!

Это моё спасибо Ему я повторять не устаю...

Почему послан я родиться в России — мыкать горе, терпеть от злобы и от низости? Не позволяй Создатель соделаться козням против моей матери, рос бы я в богатом поместье германским барином. Хлебал бы суп из ягнёнка позолоченной ложкой...

— Супы из ягнёнка, господин фон Риббек, — с издёвкой перебил Роговский, — не числятся среди любимых блюд германских дворян!

Ромеев густо покраснел, нос, формой напоминавший картофелину, покрылся каплями пота. Роговский злорадно любовался сконфуженностью врага, один из дружинников издал горловой смешок.

— Ну... чего бы ни ел я, — потупившись, выдохнул Володя, — а рос бы в процветании...

Уверенность к нему тут же возвратилась:

— И какой был бы от моего процветания интерес для Творца? Гораздо интереснее Ему и важнее, чтобы я существовал в России, так как нет во Вселенной другой страны, какая была б Ему интересна, как важна и интересна Ему Россия!

— Тогда почему бы, — с серьёзным видом, как бы перестав глумиться, сказал Евгений Фёдорович, — не сделать Ему вас попросту русским?

— Попросту?.. — Ромеев попытался локтями отстранить наседавших дружинников и расправить плечи. — Да потому что кому надо было быть — «попросту», тех Он и создал «попросту», и их, этих простых, по Расее — миллионы!

Володя в почти истерическом подъёме выделил:

— А я — не такой, не-е-е! Я — не расейский, не от Расеи я. А — послан в Россию! — он тщательно выговорил «Россию». — Послан из процветания, так как тем и превозносит Творец, что посылает отличаемых в свою Россию, чтобы служили ей с любовью, которая больше любви к процветанию.

— Экое бесстыдство — такую болтовню разводить! — возмущённо рявкнул Онуфриев.

— Когда я себя понял, — с жаром продолжал Володя, обращаясь к Роговскому, — так чего ж я ещё и мог, как не отдать себя на искоренение преступников России?

Не лишённое красоты лицо Роговского исказилось:

— А правительство, чиновники-казнокрады, судьи-мздоимцы, воры, что купаются в роскоши, — не преступники?

— Преступники и они, как же иначе?! — согласился Володя. — Но они против Творца не восстают, Его не хулят, и Он в своё время Сам своими путями их приберёт. Мы же в том Ему поможем и тем свою жизнь перед Ним оправдаем, что будем скрупулёзно действовать против наибольших преступников. Таковыми я считал эсеров, но вышло: наибольшие преступники — большевики. Потому пришёл я к вам, чтобы без всякой пощады к своей жизни действовать против большевиков!

«Играть он умеет, — в суетливом волнении думал Евгений Фёдорович, — но тут не только игра... Эти «диалоги с Создателем»... Непомернейшая, прямо-таки фантастическая гордость! Ничьё мнение для него не будет свято, и уже из-за этого, по самой коренной сути своей, он — злейший враг».

Евгений Фёдорович выплеснул:

— Всё то, что вы сейчас произнесли, — если вы только сами в это верите, — есть вопль уродливо-раздутого самомнения. Чтобы тешить его, чтобы отнимать жизни, вы выбрали стезю провокатора. И к нам вы теперь явились, влекомые гнусной, ненасытной жаждой брать, брать жизни...

Володя стремительно подался вперёд, клонясь в рывке, выхватил из-за голенища бритву и молниеносно взмахнул ею перед лицом сидящего на диване Роговского:

— И р-раз! И два!

На него запоздало навалились, заломили руку с бритвой.

— У вас кадък — надвое! — вырываясь, хрипел в лицо господину Володя. — Я вас, считайте, уже два раза полоснул! Вот какие у вас охранители...

Его ударили кулаком по затылку, но он закончил:

— Бритву просмотрели — мастера! То-то красная разведка действует без препятствий...

— Не бейте его! — выдохнул в отпускающем сердечном холодке Роговский. — Свяжите.

Ромеев бился, зажатый тремя дружинниками:

— Прямая вам по-ольза от меня-а-аа! Как нужен я вам, ну-ужен!

«С чего бы ему быть столь смелым? — больно стучало в голове Евгения Фёдоровича. — Рассчитывает на защиту офицеров! Может, имеет основания — знает кого-то? Сколько их, монархистов, кадетов, пока в одном лагере с нами...»

— О большевиках помыслите! — вдруг жалобно и точно потеряв голос, просипел Володя. — Вот уж — Зло-оо! вот — Сила-аа... Дурачочки вы против них, глупыши белопузые. У них — клыки-с! Порвут они вас и проглотят... Дайте мне поработать против них, вусмерть выложиться, а там — цедите мою кровь по капле...

«Нет ли у него кого здесь, в контрразведке?» — кольнуло Роговского.

Он медленно сказал:

— Вы опрометчиво посчитали нас глупцами. Мы знаем о заговоре! В нём участвуют часть офицеров и лица, подобные вам. Готовится свержение нашего правительства народных представителей, дабы установить военную диктатуру. — Евгений Фёдорович резко поднялся с дивана. — Вы прибыли для связи. От кого? К кому?

Открылась дверь, из коридора донеслись голоса. Вошедший Панкеев доложил: волнуются солдаты.

— Кто? — нарочито недоумевающе воззрился на него Онуфриев.

Поручик объяснил: Ромеев и несколько добровольцев задержали троих. Личности весьма подозрительные. Солдаты спрашивают: почему вцепились в Ромеева, а арестованными не занимаются?

Онуфриев — демонстративно — тяжело, скорбно вздохнул:

— Солдаты — спрашивают!.. — со смиренным видом пожал плечами: — Что же-с, армия — Народная... Займитесь арестованными.

— Па-а-звольте! — вмешался министр. — Арестовал — он?! — ткнул пальцем в Володю, стоявшего со связанными за спиной руками. — О-о-он?! — широко расставив ноги в шевровых сапогах, Роговский пристально взгляделся в полковника. — Вы что же... ничего не вынесли из услышанного здесь?

Онуфриев принял подчёркнуто озабоченное, мрачное выражение, приблизился к Володе:

— Я вижу всё, что вы пытаетесь скрыть!

В глубине души Василий Ильич считал невинными большинство тех, кого забирали подчинённые ему люди: за исключением разве что бандитов, которых посчастливилось схватить на месте преступления. И сейчас думалось: трое, о ком было доложено, невинны. Да и с этим бывшим агентом не стоило бы теперь сводить счёты. Вероятно, он претерпел от большевиков такое, что повредился в рассудке: к кому принесло? Ну и враки его сами за себя говорят.

— Василий Ильич, — обратился к начальнику Панкеев, — разрешите, я займусь арестованными?

— Погодите, — Онуфриев вопросительно смотрел на министра: — Так вы полагаете...

Тот картинно указал на Володю:

— Займитесь им! А те... вы уверены, что он не хочет вашими руками взять их жизни?

«Не к полковнику ли Ромеев шёл?» — сверлила между тем мысль.

Онуфриев сказал осторожно:

— Отпустим их...

— Решайте, — зловеще произнёс Роговский. — А мы — посмотрим...

Володя умоляюще вскричал:

— На колени встану! Я — фон Риббек — на колени! Но не отпускайте вы их, вся ихняя сеть в руках у вас...

— От себя отводит, — с деланно-торжествующей уверенностью заявил Роговский Онуфриеву, следя за его лицом, стремясь проникнуть в его мысли. — Нас интересует действительная сеть, и я требую результатов, полковник!

Ромеевым занялись, а Панкееву было приказано позаботиться, чтобы троих задержанных отпустили.

11

С солдатами к пакгаузам отправился дружинник. Быбин по пути возмущался:

— Без проверки — и враз отпустить! А кто они, как не разведчики?

Шикунов подхватил вежливо-ласково, будто он не досадует, а говорит любезность:

— Зато умелого, умного человека сцапали. Впились в него!

По-всегдашнему пасмурный Лушин ввернул со сварливой, злой нотой:

— Видать, много чего есть за ним...

— Но он — за нас! — воскликнул Сизорин, заглянул в лицо Лушину: — И не жалко вам, что он погибает? — отскочил, пряча выступившие слёзы.

Дружиннику указали отделение пакгауза, где были заперты трое. Он отодвинул засов, распахнул дверь. Тотчас из помещения донёсся громкий голос барышни:

— О, новое лицо! Наконец-то! Голубчик, вы знаете, какие-то пьяные люди нас заперли... хотели надо мной надругаться, ограбить. Я пожалуюсь генералу!

— Выходите, это самое, — дружинник показал рукой, — на волю.

Вслед за ней появился мужичонка в лаптях:

— У меня сынок за народный Комуч кровь льёт, а меня — под замок...

Проходя мимо солдат, барышня узнала их, отвернувшись, ускорила шаг.

— Ну, — пробормотал Быбин, — а где пацан? — вошёл в помещение. Через минуту выбежал: — Держи-и их! Убили!

Барышня мчалась прочь по уходящей вдаль узкой полосе: справа — бесконечно длинный пакгауз, слева — громыхающий по рельсам состав. Сизорин и Лушин настигали её. «Лапоть» попытался вскочить на тормозную площадку вагона, но Быбин с Шикунковым оторвали его от поручней, повалили наземь.

Быбин, обычно степенный, сейчас чуть не дрожал, сбивчиво объясняя дружиннику:

— Мы троих привели-то... пацан с ними ещё, малолеток! И — нету! Захожу: где? А? Под опилками — неживой...

Парень шагнул в пакгауз, вытащил на свет тело, вытащил привычно, будто мясную тушу. Нагнулся, поворочал, пощупал.

— Удушен. Вишь, дорожки на шее.

Лушин и Сизорин, выкручивая ей сильные руки, привели ожесточённо сопротивлявшуюся беглянку. Шляпка с вуалью потерялась, растрёпанные волосы упали на лицо. Женщина тяжело дышит, всё в ней клокочет неистребимо-ненавидящим упорством.

Её сообщник выглядит как-то «суше», он сидит на земле, низко наклонив голову, сжав её ладонями.

Шикуннов поражённо и вместе с тем в отрадном облегчении объявил:

— Ведь он это заране знал — Володечка! Увидите, мол, что выйдет: против чего никто не пойдёт. Вот и вышла истина.

Порыв ребячливости сделал непохожим на себя Быбина — он бурно восхитился Ромеевым:

— Очень расчётливо понимал. Заметили, как он крикнул, чтоб эти ушли: уезжаем-де! уходит наш эшелон! Чтоб эти думали: если их отпрут, то уж другие — кто про пацана не знают. И придушили, — закончил ликующе, как мог бы сказать: «Попались!»

Впрочем, его настроение тут же сменилось. С гневным презрением обратился к пойманной:

— Боялись, значит, что снова может рассказать?

Лушин выругался:

— Отомстили! Не терпелось отомстить, у-уу, красюки-погань, карратели... — Он смачно, с чувством сплюнул.

Быбин поторопил:

— Ведём назад в контрразведку!

— Ну, ты! — вдруг набычился дружинник. Он был из тех малых, что знают себе цену. — Не х... командовать! — направил на добровольца громоздкую «Гра».

Тот вытаращил глаза:

— Ты чё?

— У меня приказ: отпустить! Пусть идут.

— Но они убили!!! — вскричал с безумным лицом Сизорин.

— На меня это без влияния. Я здесь с приказом: отпустить. Будешь ещё мне указывать!

«Лапоть» встал на ноги. Барышня отбросила волосы с лица.

— Ну уж нет! — Быбин выстрелил из винтовки в воздух, закричал: — Тревога!!!

На тесном пространстве между пакгаузом и железнодорожным полотном собирались добровольцы. Раздвигая толпу, подошли чешские легионеры: офицер и двое рядовых.

Пострадавшие от большевиков смотрели на чехословаков как на спасителей. Благодаря им советской власти не стало от Волги до Тихого океана. И они держали себя соответственно.

Офицер с холодной властью, нажимая на «о», спросил:

— Что про-зочло?

Ему стали рассказывать... Он был отлично сложен, осанист, аккуратно подрубленные узкие усики, тонкой кожи чёрные перчатки. Достав портсигар, серебряный, с монограммой, вынул папиросу, щёлкнул зажигалкой, закурил. Задавал вопросы, уточняя, что именно узнавали барышня, «лапоть», парнишка у военных около эшелонов. С цепким вниманием выслушал поочерёдно четверых добровольцев, осмотрел труп подростка. Вдруг с улыбкой обратился к барышне:

— Отчего он убитый?

— Не знаю! Контрразведка меня отпустила! Вам подтвердит началь...

Хрусткий звук удара. Молодая женщина отлетела в толпу: та раздалась — и она упала навзничь, вскинув длинные ноги в красивых ботинках. Платье и нижняя юбка задралась, обнажив гладкие пышные ляжки.

— Сучанка! — чех сделал ударение на первом слоге. Вынул изо рта папиросу, плавно выдохнул дым. — Взъят!

* * *

Майор Иржи Котера был пражанин. До мировой войны он занимал видную должность в крупной торговой компании, что закупала в России лён, пеньку, коноплю. Поскольку требовалось бывать в России, Котера выучился говорить по-русски. Истый патриот, он ненавидел австрийцев и мечтал о независимой Чехии. Попав на фронт, перебежал к русским, вступил в чехословацкий легион, чтобы воевать с Австро-Венгрией. Когда легион (чаще его называют корпусом) выступил против большевиков, Котеру, учтя его знание русского языка и опыт общения с русскими, назначили на одну из руководящих должностей в срочно сформированной контрразведке.

12

Володя, со связанными за спиной руками, сидел на стуле в кабинете Онуфриева. Тип в некрашеного холста косоворотке с засученными рукавами ударил его по губам аршинной дубовой линейкой.

Роговский стоял поодаль на сверкающем паркете в позе несколько театральная, хотя подозрения царапали по сердцу всерьёз.

— Повторяю: с кем из офицеров вы шли на связь?

Ромеев получил ещё один удар линейкой; из разбитых губ капала кровь.

Полковник, сидя за столом, набивал нюхательным табаком ноздри.

— Отвечай! — оглушительно, со вкусом чихнув, добавил: — Покалечим!

— Не надо бить, — тоном просьбы сказал Евгений Фёдорович: он говорил это после каждых двух-трёх ударов.

И вдруг связанному — нахраписто, свирепо-хамски:

— Имена офицер-ров?! Живо!

Володя молчал, и тип опять прошёлся линейкой по его губам.

— Ты усугубляешь своим упорством! — проорал со своего места Онуфриев.

Вошёл молодцеватый чешский майор, вскинул руку в перчатке к козырьку, представился.

— Этот человек взял троих людей? — указал взглядом на Володю.

— А в чём дело? — Роговский, эффектно подбоченившись, с апломбом назвал себя, свой пост.

Котера с дежурно-любезной улыбкой, как о приятном, уведомил:

— Он берётся к нам.

— Это невозможно! Он опасный враг, многолетний провокатор царской охранки! Ему вынесен смертный приговор партией эсеров.

— Очэн сожалею, — сказал чех невозмутимо. — Нам нужно его взъять! — кивнул двум легионерам. Те встали у Володи по бокам.

Котера щёлкнул каблуками, слегка поклонился Роговскому и чётким шагом вышел.

В вагоне чешской контрразведки заговорили и барышня, и «лапоть». Знали они много, и в одну ночь в Самаре был схвачен весь актив большевицкого подполья. Ничего обиднее для красных не представишь: ведь к вечеру следующего дня белые оставили город. Их «прощальный привет» будет назван «одним из самых остро драматических», «горчайших» моментов Гражданской войны.

Виновник случившегося покинул Самару с неожиданным комфортом, в обществе чешского майора. Поезд в осенней ночи катит на восток; вагон первого класса — купе отделано красным деревом, пружинные диваны, яркие плюш и бархат, на окне — шёлковые занавески.

Ромеев и Котера сидят за столиком друг против друга. Светло-каштановые гладкие волосы офицера плотно прилегают к голове, любовно подрубленные усики выведены в ниточку; цвет лица — кровь с молоком.

У Володи потрёпанное жизнью простонародное лицо, вид неважный: воспалённые глаза, распухшие, разбитые губы, щетина.

Чех угощает, окая, делая неправильные ударения:

— Кушай, дорогой друг. Ты отличился здорово! Очэн много помог!

На столике — открытые банки с консервами, белые булки, графинчик с клюквенным морсом, плоская аптекарская фляга спирта.

— Мне бы дальше работать, господин майор! Во всю силу! Дайте такую возможность. Грешно клясться, но чем хотите поклянусь — не пожалеете!

Котера протянул ему позолоченную американскую зажигалку:

— Будешь роботат! Тебе додим всё право, — улыбкой и тоном выражая похвалу, произнёс с ударением на втором слоге: — Заслужил.

Ромеев поблагодарил растроганно:

— То дорого, что признаёте меня.

Чех налил ему, себе по полстакана спирта, разбавил морсом. Провозгласил тост за поимку большевицких разведчиков на всех станциях от Уфы до Владивостока!

Выпили, Володя уничтожает булку, Котера со вкусом, не спеша, закусывает сардинами, копчёной колбасой, становится словоохотлив.

Русский народ, говорит он, очень большой народ. Чересчур великий. Слишком богатый. Уже много столетий они не испытывают иноземного ига, не знают железной необходимости беречь своих людей, чтобы выстоять, сохраниться. Они без удержу размножились до того, столь много захватили природных богатств, что от переизбытка развязали братоубийственную войну: кровавадно истребляют друг друга, уничтожают неисчислимые горы имущества.

Легионеры помогают белым, сочувствуют им всем сердцем. Но белые остаются русскими. Ведут войну расточительно, бестолково, с пренебрежением к рассудку. Белым начальникам наплевать, что Ромеев отдавал им в руки красную агентуру, десятки скрывающихся комиссаров. Начальство из варварского чувства мести, из пристрастия к безмозглой

жестокости желало замучить полезного человека. А то, что подполье сохранится, что из-за этого последуют военные поражения, погибнут тысячи храбрых честных добровольцев — тьфу на это!

Володя слушал, сжимая стакан сильными узловатыми пальцами, опутив голову; сальные пряди свесились, по щеке с отросшей щетиной покатилась слеза.

Чех продолжал: русским было дано невероятно много не просто так. На них возложена ответственность за всё славянство. Свои неизмеримые силы они должны были бросить на освобождение порабощённых братьев-славян. Драться, если будет нужно, хоть сто лет! Победив Наполеона, Россия должна была воевать с Австрией, с раздробленной в то время Германией, чтобы дать независимость Чехии, Словакии, Польше. Но Россия захотела покоя и дальнейшего обогащения: принялась покорять Кавказ...

Володя с отчаянно-горестными, жалобными глазами вскричал:

— Вы указываете: мол, непомерно много всего есть у русских. Но народ-то раньше, чай, ещё тяжеле жил! От зари до зари — в работе. У кого есть лошадёнка, а у кого и нет. Кто мясо три раза в год ел, а кто, поди, его и вовсе не видел, иные хлеб с сосновой корой пекли. А война — это ж совсем разор! Куда ж год за годом биться — против эдаких стран?

— О-о, русские умеют очэн здорово переносит бедност! — Котера ловко подхватил вилочкой складного ножа рыбку из банки. — Они — такой народ особый!

Рассказал, что видел старика, жившего в «жилище», в каком чехи кур не станут держать. У старика не было ни одного зуба. Он брал деревянную колотушку, клал в глиняную посудину варёный картофель, толк вместе с кожурой, заливал тёплой водой. Только этим и питался. И был весел! Шутил, подмигивал — или подолгу молился. Говорил, что благодарит Бога.

И сколько, изумлялся майор, довелось ему увидеть других русских, которые шутили, даже пели, когда, казалось бы, и для рыданий им неоткуда было взять сил.

По его мнению, эта способность была подарена русским для того, чтобы они могли приносить жертвы за весь мир славян. Но Россия не отдавалась всецело жертвенной борьбе. И наказана за эгоизм: русские бешено бьются друг с другом. Всё, что Россия скопила, не вступив в столетнюю войну за славянское дело, истребляется теперь. Судьба взимает жертвы, не принесённые в своё время. Её не обманешь...

— Умело сказано, хитро повёрнуто! — кивал Володя. — Но то правда: люди мы придурочные... — Пил спирт, запрокидывая голову, острый кадык ходил вверх-вниз.

И не заикнулся Ромеев в разговоре с чешским майором, что, мол, «не расейский я».

Молодой легионер, веснушчатый, с маленькими, в светлых ресницах глазками, по-петушину лёгкий и бодрый, принёс шипящую сковороду с жареной свиной.

Котера с выражением удовольствия от собственного гостеприимства пояснил:

— Любимая еда чехов! Это то, чем каждый чех гостя угостит от всей души.

Володя глядел хмуро-непонимающе.

— Вы, под австрийцами, это всем народом ели? И... плачете?..

Майор рассмеялся: разумеется, этим людям не понять, отчего плакал его народ... Чтобы у чеха ещё и свинины не было?..

— Это не можно никак! Нельзя представит в природе!

Воцарилось молчание, глаза Володи сделались углублённо-внимательными и вместе с тем рассеянными, словно не на еду он смотрел, а за некий занавес проникал взглядом.

— Стало быть, у вас хоть сытость была, — заметил как-то мимоходом. — А у нашего мужика — ни сытости, ни воли.

Вдруг с дикарской непосредственностью, по-волчьи тоскливо запел:

Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит...

Оборвав, надрывно-хрипяще прошептал:

— И всё одно: коли плачете — и вас жалко.

— Плакать, жалко — как это русско! — одобрил Котера. Подчёркивая уважение к Ромееву, он перешёл на «вы»: — Вы — специалист старой полиции, служили самодержавию, а мы, чехи, по своим большинству — социал-демократы. Но я жалкую вас, мне жаль о вашем великом страдании, когда — что вы любили, служили на что — разваливайтесь ужасно...

Володя с лихорадочностью возразил:

— Страданье-то моё было раньше, когда я пареньком обретался среди грязи да когда первого марта четырнадцатого года бесстыдно вышибли меня со службы. — Он смотрел на чеха страстно-убеждающе, стремясь заставить его понять: — Моё об себе понимание стало разваливаться.

Зачем я таким, какой я есть, послан жить, если не дают мне оберегать Россию? Или нет у меня назначения, а только сам я обманывал себя?

От этих мыслей стояли у меня в глазах сук и верёвка...

— Зато уж теперь я — в ра-а-дости! — вдруг вскричал с детским ликованием, на щетинистом подбородке дрожали прилипшие крошки. — На то я в жизнь послан, на то меня жизнь в щёлке варила, на огне калила, чтобы в нынешний момент — самый для России смертельный — я вызволять её мог!

Котера решил, что русский пылко предвкушает возможности для наживы, которые ему открывает служба в чешской контрразведке. «Пусть берёт, сколько сможет, — подумал майор, — лишь бы очищал станции от агентуры».

Железная дорога была жизненно важна для чехословаков. Только по ней они могли добраться до Владивостока, откуда и отплыть на родину.

Другие эшелоны белых тащатся в оренбургском направлении. В теплушке, расположившись на полу, беседуют приятели Ромеева. Масляный фонарь бросает слабый дрожащий свет. Лушин, выпивши и потому в хорошем настроении, признался:

— Не верил я, что Володя столь крупно будет прав. И-ии... на-кось! Как начали к вокзалу свозить: и тебе китаец, и голубятники — сынок с папашей, — и комиссары... — он злорадно рассмеялся: — Эти-то уже кожанки натянули! в потайных фатерах досиживали: вот-де щас наши придут... Лежат теперь у пакгауза... А то б Володя висел в петле... — он шмыгнул носом, тыльной стороной ладони вытер слезу. И вдруг воскликнул с воодушевлением: — Чехи-и! Сделали!

Быбин отдал должное:

— Европа! А мы... — он поморщился, как от боли, — ой, недружные. Разве давеча дружинник не понял, что те двое — разведчики? Понял. Его зависть взяла, что мы — при чистом успехе. На меня винтовку: отпусти их! По зависти совершил бы такой вред. Ну как тут воевать? Ладно, хоть чехи есть.

Лушин не упустил случая порассуждать:

— Они, конечно, чужие, у них своя корысть — но пусть. Мы допускаем: пользуйтесь. Но если, к примеру, мы сами... не теперь, а вообще... Мы сможем гораздо лучше! Только захоти...

Шикунов ласково улыбнулся:

— Мы-то? Я не смог бы эдак женщину ударить, какая она ни будь мерзавка... — Развёл руками с явным сожалением. — Не сумел бы.

— Она пацана удушила! — перебил Быбин.

— Ну да... — как бы поддержал Шикунов, мягко продолжил: — И опять же раскинь. Ведь Володя знал, что его кончат. А тому не было пятнадцати лет. Пойди-ка на такую кровь... Но и то: иначе не доказал бы ничего.

— Малолеток на них работал, получил своё! — отрубил Лушин. Мысль у него скакнула, и он добавил: — Будь простым, да не проще чехов.

— Вы всё про них, — обиделся Сизорин, — а поймали шпиков мы! Володя! И поймали, и на чистую воду вывели. Вишь, чехи Володю мигом к себе взяли. Знать, нету у них такого! То-то и оно!

Шикунов высказался с печалью, так, будто желательно обратное:

— Лишь бы он не заелся, не обленился...

Сизорин повернулся к нему и с торжественной горячностью клянущегося заявил:

— Он ни за что не обленится!

Володя только мыться «ленился». Да и ни к чему оно было при его деле. Заросший щетиной, с гривой сальных волос, с воспалёнными от недосыпания, но необыкновенно живыми, зорко-ухватчивыми глазами челночил он по явочным квартирам большевицкого подполья — то как

«товарищ из красного Петрограда», то как посланец одной из коммунистических ячеек, действующих в тылу белых.

Весной девятнадцатого готовилось восстание рабочих в Омске — столице белой Сибири. Сюда тайно стекались опытные большевицкие агитаторы, боевики. Одним из первых появился Ромеев — «товарищ Володин из Новониколаевска», с мандатом подпольного фабрично-заводского комитета; рьяно подключился к делу...

Было назначено заседание штаба. Ромеев позаботился, чтобы до места его «проводили» агенты и взяли явку под пригляд.

На явочной квартире вдруг огласили указание: срочно перейти по другому адресу.

Собравшихся разбили на группки, и каждую спорым шагом повёл проводник. Был тёмный вечер: ни один агент не разглядит, с какой из группок, что выныривают из чёрного хода многоквартирного дома, идёт Ромеев. Но он не был бы Рыбарем, если бы не предусмотрел этого: на него заранее притравили ищейку. Овчарка привела к двухсаженному глухому забору, за которым пряталась кузница.

Кузница стояла в углу захламлённого, в кучах навоза, двора. Подпольщики, набившись в неё, тесно уселись на досках, уложенных на чурбаны, железяки, кирпичи, сидели на мешках с углём и просто на земляном полу — именно так, подвернув под себя ноги, устроился Володя.

Председатель штаба восстания объявил:

— На случай, товарищи, если всё ж таки проник к нам провокатор, все трое суток заседания никто со двора не выйдет! Разойдёмся руководить восстанием только непосредственно перед началом.

Володя одобрительно гмыкнул, кивнул, лицо сделалось придиричиво-жестоким — от того что в кузнице может находиться шпик.

Стали обсуждать план восстания. Ромеев, приняв вид страшно уставшего человека, впивался в каждое слово; как бы подрёмывая, приваливался плечом к соседу: рабочему лет за тридцать. Звали того Егор Павленин, он напоминал гусака: длинная шея, «разлапистый», с широкими крыльями нос на маленьком лице, опущенные уголки большого рта.

Павленин стал большевиком ещё летом семнадцатого, имел авторитет у «омского пролетариата». При Колчаке, замеченный в подстрекательстве к забастовке, перешёл на нелегальное положение. «Володина» он знал около двух недель. Егора как-то сразу проняла симпатия к нему: до того своим выглядел этот потрёпанный человек с малограмотной речью, с некрасивым лицом, которое, едва упоминали о белых, делалось упрямо-злым.

Павленин брал его с собой в проверочную поездку по явкам на железнодорожных станциях; ехать приходилось то в будке паровоза со знаковой бригадой, а то — на тормозной площадке. Обнимали друг друга, спасаясь от ветра, пили из горлышка бутылки вонючую самогонку, отрывисто переговаривались простуженными голосами. Проникнутый уважением к другу, Павленин думал, что тот, пожалуй, убил не одного беляка.

Сейчас в кузнице, слушая выступающего инженера-большевика, Егор наклонился к товарищу, шепча:

— Не спи, Володин! Самое важное толкуют...

Инженер объяснял: лишь только восставшие захватят вокзал, надо все паровозы быстро загнать в депо — там будет устроен взрыв, от которого ни один паровоз не уцелеет. Если придётся покинуть город, железная дорога останется парализованной на продолжительное время: а без снабжения белые не удержат фронт.

Будто б очнувшись от сна и не совсем понимая, Ромеев прошептал:

— Сдела-ам...

Донельзя грязный, лоснящийся ватник его был расстёгнут. Привычный Павленин, давно сам не мывшийся, заметил:

— Душок от тебя... прямо тухлой рыбой...

Володя, зевнув, пробормотал:

— Дык чего ж... энто раньше.

— Што — раньше-то?

Ромеев привалился к товарищу, поясняя сишлым шёпотом:

— На рыбной копильне, ну, энто... чернорабочим был. Робыты — чего уж, не помню — в контору меня послали. Прикачик нос зажал — ну, плюнул на меня.

— А ты што ж? — прошептал Павленин заинтригованно.

Лицо Володи стало насупленно-свирепым.

— После, энто... подстроил... бочка упала на него.

— Убил?

Володя поскрёб заросшую щёку чёрными ногтями.

— Ну, ноги отнялись только.

— Вот та-ак, ага-аа! — восторженно выдохнул Павленин.

Наступил третий, последний, день заседания. В перерыв, в отличие от предыдущих дней, когда перебивались всухомятку, принесли вёдра с супом, сваренным в сарае рядом с кузницей. Павленину и Володе досталось есть из одного котелка. Егор остановил товарища, собравшегося руками разломить хлеб:

— Погодь! — достал складной нож, заботливо отрезал кусок другу. Тот кивнул, набивая рот, зачерпывая ложкой дымящееся варево.

Павленин хлебал не так торопливо. Шепнул:

— Не был я ещё в бою. — С виноватым смешком добавил: — Не стреляли по мне пока что... — Затем обронил как бы невзначай: — А по тебе?

Володя высосал горячий суп из ложки:

— Ну да.

Егор был впечатлён его немногословием. Некоторое время ел молча, не сдержавшись, спросил:

— Э-э, смерти страшно?

Товарищ ответил неопределённо и без интереса:

— Може, не убьют...

Павленин, криво усмехаясь, сказал завистливо:

— Хорошо им, кто верующий. Они уверены: после смерти что-то будет. А так, когда знаешь: бац — и больше ничего! Ни солнца тебе никогда... ни одним глазком в эту жизнь уж не глянешь...

С жалостью к себе тихо поделился:

— А пожить охота. Не кувалдой махать в цеху, а сидеть за столом с полировкой, в чистоте... тебе бумаги приносят, печать ставишь... Обед принесут из ресторана, хлеб — под салфеткой...

— Чаво? — с тупым недоумением спросил приятель.

Егор спохватился:

— Шутю! — Помолчав, поинтересовался: — А как ты свою жизнь представляешь при нашей власти?

Володя вылил из котелка в рот остатки супа, проговорил веско, с сумрачной значительностью:

— У меня так. Поел и — по большой нужде!

В животе у него звучно зарокотало. Поднялся, разминая в руках клочок бумаги, вышел из кузницы. Павленин последовал за другом. Из сарая выглядывал парень-дежурный, следя, чтобы никто не пытался уйти со двора. Было неприятное пасмурное утро — восстание должно начаться в пять пополудни.

Володя зашёл за угол кузницы, в проход между её стеной и забором. Земля здесь густо усеяна человеческими испражнениями. Он присел на корточки, Егор, встав рядом, стал мочиться; его угнетало ожидание боя, и, бодрясь, он сказал:

— По гудку весь Омск подымется!

Друг, кряхтя, с наслаждением раскуривал козью ножку; тужась, пустил ветры. Павленин, который жадно желал сочувствия, но не услышал ни слова, оскорблённо бросил:

— Ты, вижу, мастак смаковать!.. — И вернулся в кузницу.

Ромеев расправил клочок бумаги, указал карандашом время восстания, пункты сбора: скомкав, забросил записку за забор. Через минуту он опять сидел на земляном полу кузницы, устало привалясь к Павленину.

В проулке вдоль забора бегала взад-вперёд ищейка, из укрытия наблюдали агенты чешской контрразведки. Собака кинулась к упавшему комку бумаги.

15

Молодой белобрысый капрал Маржак, по-петушину лёгкий, перепрыгивал через рельсы, проворно пересекая железнодорожные пути. В тупике стоял вагон чешской контрразведки, к его крыше с неоструганного временного столба спускался телефонный провод. Маржак вбежал в салон, вытянулся.

Майор Котера сидел за столиком, читая утренние донесения. Оторвался от них, велел докладывать. Услышав имя «Володя», он привстал, спеша взять у капрала клочок мятой грязной бумаги.

Пять минут спустя рука Котеры протянулась к телефонному аппарату...
Офицер вышел на площадку вагона. Напротив стоял состав обжитых чехословаками теплушек: их наружные стены отделаны резной кедровой корой — замысловатыми барельефными изображениями. У каждой теплушки основательно устроена лестница с удобными ступенями. Чешские части всегда обустраиваются так, если им предстоит пробыть на станции не менее недели.

Легионеры больше не желают воевать против красных на фронте, но они взяли на себя охрану железной дороги в белом тылу, где из-за безмозглой политики колчаковцев собираются целые повстанческие армии.

Котера окидывает взглядом сытых, хорошо обмундированных легионеров, что, высыпав из состава, прогуливаются или сбиваются в группки. Одна из таких кучек забавляется с ручным медвежонком. Двое чехов играют на скрипках — несколько минут майор наслаждается «Славянской рапсодией» Дворжака... Даже в промозглое безрадостное утро ощущается домашняя теплота. Котера вернулся в салон и отдал распоряжения.

Раздались свистки, команды, могучий слитный топот; вдоль состава встал строй в несколько рядов — сплошной забор из штыков. Чётким отработанным шагом, отделение за отделением, легионеры стремительно ушли в город.

16

Павленина вызвали из тюремной камеры, набитой арестованными. Конвоир привёл его в помещение с голыми выбеленными стенами, с забраным решёткой окном. Здесь стояли лишь два стула и конторский стол. Конвоир удалился в коридор.

Вдруг открылась ещё одна, слева от входа, дверь, и вошёл Ромеев. Вошёл неторопливой, небрежной походкой, какой он почти никогда не ходил: так ходят люди, когда на них смотрят, а они хотят показать, что совершили нечто выдающееся. Он позволил себе вымыться, был побрит, одет в приличный чистый пиджак и в свежевыглаженную косоворотку.

Павленин напрягся от ярости и от того, что выражать её опасно.

Володя медлительно, с ленцой уселся за стол, сухо пригласил:

— Присядь.

Егор наклонил маленькую голову на длинной шее: нос с широкими крыльями, опущенные уголки рта — сейчас он был особенно похож на гусака, который, казалось, злобно зашипит. Он сел на стул перед столом. Не глядя на него, Ромеев с непроницаемым видом сказал:

— Восстание накрыто. Весь город вычистили. Урало-Сибирский комитет в руках у нас.

Вчера около трёх пополудни они с Павлениным, как требовал план выступления, были в депо, где скапливалась дружина боевиков. Внезапно появились чехи. На Егора, рванувшегося в тендер паровоза к пулемёту, вдруг прыгнул сзади его товарищ, подсёк ловкой подножкой и, упирая в хребет ствол пистолета, сдал легионерам.

Когда ошеломление отошло, Павленина скрутила жалость к себе, он изводился, осуждая себя за доверчивость, проклиная вероломство врага.

Теперь он сидел напротив контрразведчика, подавленный до глухоты ко всему, кроме одного... На мертвенно-сером лице выделялись поры, оно казалось вырезанным из старого ноздреватого камня. Безжизненным голосом, не шелохнувшись, он как-то механически пробормотал:

— Показания давать?

В ответ услышал равнодушное:

— Потом дашь — на случай, если мы чего-то ещё не знаем.

Раздался стук в дверь, Володя крикнул:

— Ага, давайте!

Два пожилых, царской службы, надзирателя внесли судки, от которых шёл парок; запахло дразняще вкусно. Дыхание арестованного стало болезненно-учащённым. До чего же хотелось жить! Он таращился на то, как накрывают на стол. Ромеев сказал без выражения:

— Это тебе обед из ресторана.

В тарелку налили горячую уху из лососины, на блюде появилась часть тушёного гуся с капустой; нарезанный горкой белый хлеб был накрыт накрахмаленной салфеткой. Ромеев обвёл яства пренебрежительным взглядом, сделал рукой приглашающий жест:

— Сбылась твоя мечта, Егор Николаич!

У Павленина застучали зубы.

— Зачем так-то тешиться, Володин, или как вас...

Володя сказал невозмутимо, что он не тешится, что он просто чувствует «человечность» — ведь они, как-никак, успели сдружиться. В его силах оказалось удовлетворить мечту Павленина, он заказал обед за свой счёт.

— И ничего, кроме этого, не ищите, говорю вам честно, — обратившись на «вы», заверил он с ноткой сердечности.

Арестованный смотрел пытливо. Его хотят купить лаской, чтобы выудить у него всё? Но у контрразведки имеются более простые безотказные средства. Станут они возиться, угождать ему обедом...

У Егора затлело подозрение, что он нужен Володину для некоего его собственного, шкурного, тайно вынашиваемого плана.

Мысль подбодрила, и тотчас всколыхнулся голод. Он схватил хлеб, жадно хлебнул из ложки ухи, заговорил и развязно, и заискивающе:

— Как заметили-то вы, что я вчера сказал насчёт хлеба под салфеткой. А такого сермягу разыграли! Вроде как на мою барскую замашку рассердились...

Ромеев молчал, и арестованный продолжил:

— У простого-то тоже человека — и понимание, и вкус на хорошее. А то нам с вами не хочется приличного? Мы — люди схожие. — Он из осторожности умолк.

Володя прервал молчание, дружелюбно обронив:

— Да вы ешьте, ешьте, Егор Николаич.

Павленин быстро покончил с ухой, схватив руками гусятину, хищно отдирая зубами мясо от костей, маленький подвижный подбородок залоснился жиром.

— Как вас называть, не знаю...

— Владимиром Андреичем.

— Я вам рассказывал, Владимир Андреевич, ещё в начале нашей дружбы... — последние слова Егор выделил, — как я подростком пятнадцати лет трудился на шерстомойках. Таскал целый день мокрую шерсть. Получал миску щей да дневной заработок вот какой. Мог я на него купить булку, селедку и стакан молока. Такая была моя судьба. Думаю, что и вы как сыр в масле не катались.

Павленин выждал, обгладывая гусиную ножку, заговорил опять:

— У такого человека, как вы, с вашей головой и угнетённого происхождения... если б, к примеру, обчество и порядок без белой власти... могла бы быть замечательная жизнь.

Ромеев негромко, словно вскользь, заметил:

— Агитируешь?

Упираясь локтями в стол, нависая над тарелками, Егор подался к Володе:

— Отступают ва... — он хотел сказать «ваши», но осёкся и поправил себя: — э-э, белые! Да сколько партизан в тылу — кому знать, как не вам. Душою Сибирь за красных! Проигрыш белым и никак иначе. — Лицо его сделалось хитрым, глаза пронырливо заблестели, он зашептал: — Не хочу я, Владимир Андреевич, чтобы вы бежали на чужбину! Умоляю, разрешите вам помочь... — Ему казалось, он правильно понял контрразведчика.

Тот, как бы сходясь с ним на одной мысли, бормотнул:

— Простят?

— Руку даю на отсечение! — выдохнул Павленин в озарении, что может спастись, и забывая, как мало сейчас стоит его рука. Добавил многозначительно: — Вы ведь не пустой к нашим придёте... Вижу я, — вы-сказал он с жаром, — не должны вы быть с белыми. Это ненатурально. Вы — наш!

Ромеев потупил глаза, словно скрывая внутреннюю борьбу.

— Ваш... не ваш... — сказал и точно забылся, выдержал паузу. — Происхождение моё... Нет у меня желанья его вам рассказывать...

Вдруг с искренностью произнёс:

— Но, конечно, поскитался я по углам. Часто не был сыт. Городовой был для меня большая опасность.

Павленин возбуждённо кивнул, как бы приветствуя то, что городовой представлял опасность для Володи. Тот продолжал:

— Жили мы с отцом под чужими именами — по глухим фатерам, по номерам... отец на каторге помыкался... правда, не за политику — за грабежи. Но для красных и это неплохо.

Егор охотно поддержал:

— Хозяева побольше грабят!

Внутри у Ромеева клокотало. Сказал через силу:

— Не надо мне поддакивать. Вы не знаете, что к чему. — Во рту было сухо, он сглотнул с усилием, точно пил что-то не проходящее внутрь: заметно двинулся острый кадык. — На отца, — в голосе зазвучало неуёмное страдание, — за его самостоятельный характер напали свои же. В спину всадили финку и потом пыряли. Думали — кончился, бросили его под мост в канаву. А он сумел вылезти, дойти до номера, где меня поселил.

Мне было в ту ночь пятнадцать лет восемь месяцев, и на моих руках помирал последний, единственный родной мне человек.

Мучился он страшно... успел мне сказать: «Мсти всем вора, всем преступникам мсти! Из них многие часто убивают своих, но с другими ворами работают заодно. А ты, — сказал он мне строго и верно, — назло будь не таким! Ты будь против всех преступных и против каждого преступника». С этим последним словом затих.

Схоронили его, продолжал рассказ Володя, за счёт благотворительного общества, а мне надо было думать, где найти пожрать. То же общество посоветовало меня в артель, которая ставила каменные надгробья, могильные склепы или поправляла старые. Ну и подновляла часовни, церкви.

Уж потаскал, поворочал я камни, потесал их — мозоли лопаются, из них сукровица течёт, руки ею облиты, а работать надо: не пожалеет никто!

Проливал слёзы — сказать не стесняюсь. Проливал — что послан в мир на такую долю, и жалел себя как! и ненавидел, кажется, весь мир.

А выпадет погожий, тёплый день — работать полегче, — и благодаришь Бога. Обед, случится, дадут хороший — и уж радости сколько! Всего тебя это меняет, и тянет душой — чего б посмотреть невиданного?

Особенно я любил, когда переходила артель на новое место: вот тебе и другая церковь, и кладбище другое, да если это летом — ух, привольно-то! жарко, облака белые громоздятся горами, а меж них солнце так и шпарит, по всему кладбищу вишня разрослась, ягоды наливные краснеют. Идёшь срываешь их и высматриваешь надписи по надгробьям. И вдруг встречается: «На поле брани он честь россос выражал». А то: «Он умереть вернулся в край отцов из той Венеции, где звался Львом России».

Обернёшься на церковь: купол её голубой точно белоснежной пеной умыт, золотой крест на солнце сияет, а дале — молочное облако встало пухлое, лёгонькое, и от тишины, от жара огненного так воздух и звенит... ох, как охота всю эту буйную зелень вокруг, кусты пахучие обхватить! И такая радость проберёт — мир хорош до чего, и мир-то — Россия!

В Псковской губернии, в деревушке — глухие сосновые леса кругом, — поправляли мы церковку: беднее не бывает. Батюшка, совсем молодой, сам на своём поле и работал. Раз обтёсываем мы камни, а он после службы спешит на огород полоть. И чего-то улыбается нам... А назад идёт — несёт мешок. Я, говорит, вам молоденькой картошечки накопал, сейчас матушка сварит...

И притащили с матушкой нам котёл молодой картошки, укропом посыпана. Едим мы её в тенёчке — знойный вечер, душный, — и нельзя передать, как приятно мне от понятия: вот моя Россия! Батюшка этот — кудельки ещё вместо бороды, матушка, не родившая пока что ни разу, бедная церковка, картошка: в охотку в такую, что и сейчас облизнёшься... — Россия это!

С тех пор я увижу сараюшку, а рядом босого пацанёнка — ему трёх лет нет, а он уж работает, чтоб против голодухи выстоять: хворостинной отгоняет от грядки кур — так у меня внутри всё переворачивается от боли России.

Павленин, не забывая приканчивать остатки обеда, поражался, какой хитрый, ушлый, заковыристо-опаснейший человек перед ним, время от времени кивал, даже зажмурился, выказывая сочувствие Ромееву и восхищение верностью сказанных им слов.

Захваченный порывом высказать, высказать заветное, Володя торопливо, нервно вспоминал:

— В псковских же местах, при поместье на реке Плюссе, подновляли мы склепы. Кладбище родовое. Помещик пёкса о нём — сам заметно уже пожилой, тучный, голова и бородка седые, а нос большой, розовый. Обходительный барин — рубашка на нём кипенно-белая, жилет белый, белыми же цветами расшитый, и летний белый пиджак. Ходил с тросточкой, говорил с сильным сипом, отдувался.

Мы во дворе обедаем, а он по веранде туда-сюда — топ-топ, топ-топ, тросточкой помахивает — своего обеда ждёт. И очень нервничает, что повар что-нибудь не так сделает. То и дело уходит в кухню к повару — до нас доносится взволнованный разговор.

Обедать сядет на веранде, служит ему слуга — старик, а усы чёрные. Залюбуешься, как барин от нетерпенья крышки над кастрюльками приподнимает и обжигается, вскрикивает, пальцы облизывает. Станет есть — аж стонет, охает от вкусного, мычит и головой поводит.

Нам он велел сделать ему впрок надгробье, выбить золотом надпись: «Пределы ему не поставлены, ибо он дворянин России».

Наш старший над артелью осмелился спросить: как же-с, мол, извиняюсь, насчёт пределов, когда человек-то ведь уже будет мёртвый? А барин: пусть — мёртвый, и хоть сорок раз мёртвый, а, однако же, никаких пределов не признаю!

За эти слова я его прямо полюбил, и ещё то мне затронуло сердце, что — не «русский дворянин», а — «дворянин России»! Не знаю, понимал ли он, как я: Россия может и немецкой, и американской быть. Она всех стран пространственней!

Ромеев вернулся мыслью к барину, заявив запальчиво:

— И никак мне не было обидно глядеть, как он обедает, и не брала зависть на его богатство.

— М-мм... — Павленин, прожёвывая тушёную капусту, кашлянул и как бы доверчиво признался: — Не могу я чего-то понять: вы работаете до кровавых мозолей, куска досыта не едите, а он всю жизнь в счастье, на ваших глазах — такое роскошество и безделье, и чтоб вам не было обидно...

Ромеева залихорадило, он дёрнул головой, порывисто вытягивая шею, стараясь придать себе высокомерный вид.

— Ни понять, ни представить ты, конечно, не можешь, — сказал желчно, заносчиво: обращаться к Егору на «вы» ему надоело. — Ты смотришь на роскошь снизу, у тебя текут слюнки на богатый стол, а я смотрел на барина сверху, потому что я чувствовал... не буду тебе объяснять — почему, — но я чувствовал, что вроде как мог таким же богатым и даже богаче быть, но я вроде как от того отказался ради России!

И я бы по правде-истине отказался в действительном смысле.

А барин Россию любит, но не отказался ни от чего ради неё: не мог по слабости, куда ему против меня?

То есть он слабый, больной росток в саду России, и я, как о ней целой, так и о нём должен печься!

— И как же мне тогда, — рассерженно и убеждённо заключил Володя, — не смотреть на него сверху?!

Будь Павленин не в тюрьме под угрозой казни, его разорвало бы от хохота.

Он притворился, что всерьёз принял услышанное; при этом воодушевляюще верилось: до чего ловко сумел он загнать в угол столь прожжённого хитреца! Тому остаётся лишь нахально врать откровенную чушь.

Ромеев с презрением говорил:

— Ты плакал, что рученьки твои отмотались мокрую шерсть таскать, спинка изломилась и пожрать ты не можешь то, что у других на столе. А я камни ворочал, тесал их — ладони кровоточили! Травил пылью лёгкие и мечтал не о том, чтоб в чистой сидеть конторе, печати ставить и чтоб мне из ресторана приносили обед. А я думал, что я могу и должен сделать, — он на секунду примолк, колеблясь, сказать или нет, — сделать, чтоб мне на надгробном камне написали — «Честь россов выражал».

— Ну разве ж ты, — горячо, горестно вскричал Володя, — можешь понять — «Честь россов выражал»?

Егор спрятал взгляд, не посчитав нужным поддакнуть. Ромеев с трудом кое-как обуздал кипевшую в нём бурю и, приостанавливаясь, чтобы не сбиться, со снисходительно-усмешливым выражением задал вопрос:

— Разве б ты или кто другой... из всех вас мириадов таких же... мог бы пойти на смерть лишь за то, чтоб на его могиле было: «Он умереть вернулся в край отцов из той Венеции, где звался Львом России»? Или: «Пределы ему не поставлены»?

Сказано было со столь красноречивой интонацией, что Павленин не стерпел обиды:

— Я за своё пошёл жизнью рисковать и среди первых был, — проговорил дрожащим от бешенства голосом, — и если так сошлось, что выхода нет — умру, на колени не встану!

Ромеев глядел в его бескровное, словно отвердевшее в решимости лицо, а Павленин высказывал жёстко, грубо:

— Россия не менее родная мне, чем кому другому. Русский я. Но слова о России не обманут и не отвлекут от положения: одни в ней имеют и много, а другие — нет. Чтоб это поменять — шли, идут и будут идти на смерть!

Володя хотел вернуть что-то саркастическое, но не получилось. Какое-то время он молчал, усиленно подыскивая слова.

— Не можешь ты мне поверить, но я изъяснюсь. Чтоб кто не имел — стали иметь, нельзя прямо за это бороться! Толку не будет. Мировое устроение не переборешь. Надо бороться за другое — лишь тогда неимущие и заимеют!

Я это понял из слов отца. Его смерть была дозволена, чтоб он свои слова сказал и чтоб они повернули меня против преступников, подтолкнули мстить.

Но для этого я ещё был зелёный, а пока повзрослел, мне было дано понять: надо мстить не только за отца. Надо мстить за Россию — преступникам России! Почему я и пошёл проситься в сыск.

Павленин остро вдумывался: к чему он клонит? Соблазняет в провокаторы к ним пойти? Стараясь, чтобы вышло простодушно, сказал:

— Платили, думаю, в сыске не ахти сколько...

Ромеев ждал подобного вопроса, не взъярился, а с холодной надменностью ответил:

— Не уколола булавка! Как ты, конечно, думаешь, платили мне нескучно. А так как я служил с немалой пользой, то всё щедрей платили. Квартиру нанимал в бельэтаже — не худшую, чем у отставного генерала. Спал с сожительницей на кровати из карельской берёзы. Дачу купил в Подмосковье, в Вешняках...

В голосе стало прорываться волнение:

— Шло мне, добавлялось и прибывало — потому что не за это я служил и не об этом думал. И когда честь потребовала — всё это не удержало меня совершить! Что совершить — про то не тебе знать...

Уволили от службы, но я оставался при деньгах. Мог найти, как и прожить хорошо, и поднажиться. Но я взялся за тяжёлое: открыл каменотёсную мастерскую. Сам же тесал камень и учил подручных... Сожительница меня презирала. Женщина молодая, приятная и дорогая мне... Не захотела со мной более продолжать. У неё от меня были девчушка и мальчик, и я оставил ей дачу. Шестьдесят процентов скопленного записал на них, а самому пришлось помещаться с мастерской в сарае.

Бился-бился, а не шло дело, работники попадались пьющие, прохиндеи, клиенты в обиде всегда... так до большевицкого переворота и дотянул — тому должен, другому.

Володя вдруг смягчился, сказал улыбаясь, почти дрожа от тёплого чувства:

— Зато как узналось про белых — я судьбу-то и понял! Начата белая битва за Россию. Вот на что я был послан, к чему меня жизнь подводила... в кошмарный час России — зрелой головой и всею испытанной силой — действовать за Россию!

— А ты считаешь, — с упрёком, но без злости обращался к Павленину, — я — предатель. Дурочка! — с жалостливой иронией назвал Егора как существо женского рода. — Вернее меня нет.

Павленин думал с душащим возмущением: «Брешешь-то зачем так мудрёно?.. А если ты когда-то в самом деле бабе и детям своим оставил дачу, то теперь на десять дач нажился. Чехи вон как грабят, а ты при них — с развязанными руками...» Сказал неожиданно легко, голосом, звенящим от безоглядно-злого подъёма:

— Зовёшь к вам в агенты? Попроше, покороче надо было! А историю свою щипательную сберёг бы для семинариста, дьячкова сынка...

Павленина захлестнуло пронзительно-страшное и вместе с тем торжественное чувство гибели, он спешил высказать:

— Я слушал твои сопли — думал: ты, как фасонная блядь, модничаешь и крутишь вокруг того, чтобы со мной к нашим бежать. Потому что — вашим каюк! — он весь подобрался, стремясь произнести с предельным, с невероятным сарказмом: — А ты меня-а-а, хе-х-хе, меня-а-а! к вам в шпики тянешь, ха-ха-ха... — прохохотал деланно, тяжело и с заледеневшими в ярости глазами будто прицелился в Ромеева: — Не знаю, какой ты, хи-хи, ве-ерный... Но о себе скажу: я — своим верный!

Володя с внезапной простотой сказал:

— А я это знал, Егор Николаич. Я тебя до нутра видел — ведь ты со мной был очень откровенным. Видя твоё доверие, и другие ваши мне вполне доверяли. От твоей доверительности, от твоей пользы и происходит моя человечность к тебе — конечно, в отмеренной позволительной степени.

Боясь сломаться, размякнуть, арестованный понудил себя со злобой выдать:

— Ври, ври...

Ромеев, словно не услышав, говорил:

— Про твой страх смерти и что в бою не бывал — знаю от тебя же. И потому оцениваю, сколько тебе стоит со мной держаться и говорить такое. Я всегда чувствовал твою силу — и поэтому должен был сказать перед тобой о себе. Твоё дело не верить — а я открылся.

В агенты же я тебя не тяну и не хотел. Сам знаешь — из ваших найдутся не один и не два. — Он выдвинул ящик стола; стол достаточно широкий, и сидящему напротив Павленину не видно содержимое ящика. В нём под листом бумаги — револьвер со взведённым курком.

Володя протянул арестованному бумагу, карандаш:

— А показания ты всё-таки дай.

Егора оглушило смятение. Силу мою чувствуешь? Так чувствуй! Написать: «Я — большевик, от своих убеждений не отказываюсь, белого суда не признаю...»? «Смерть белой сволочи!»?

Или потрафить им? словчить, написать про то, что они уже и так знают, помирнее написать... Заменят расстрел отправкой на Сахалин, у них это бывает...

Он сжимал карандаш, силясь думать спокойнее, напряжённо склонился над листом бумаги, а Ромеев незаметно опустил руку в ящик стола, взял револьвер; не вынимая его, тихонечко выдвигал ящик на себя и вдруг неуловимо приподнял наган и выстрелил.

Павленин ничего не успел увидеть. Пуля угодила ему в лоб над левым глазом — тело мягко свалилось на пол, стул шатнулся, но не опрокинулся.

Выскочив из-за стола, едва удерживая в затрясшейся вдруг руке револьвер, Володя, готовый стрелять ещё, заметался над телом. По нему прошла лёгкая судорога. Павленин был мёртв.

Унимая себя, Володя мысленно вскричал: «Это только и мог я для тебя сделать». Он избавил арестованного от муки ожидания, от процедуры казни.

17

Унимая себя при виде воровства, царящего в тылу, сопротивляясь муке отчаяния, Володя мысленно повторял себе: на фронте есть смелые, честные, гордые — и ради них избавлена будет от казни Белая Россия.

Умилённо берёт в памяти день, когда вдруг встретился в Омске с Сизориным.

Ромеев был в парикмахерской — с молодости держался привычки хоть изредка, но бриться у дорогого парикмахера. Его брили, а он уловил в себе беспокойство от чьего-то взгляда. Увидел в кресле поодаль тощего, недужно-бледного солдата, глядевшего счастливыми глазами.

— Дядя Володя!

С Сизориным в парикмахерской был приятель, они зашли обрить головы — замучили вши.

Когда Ромеев и два молодых солдата вышли на летнюю полуденную оживлённую улицу, по которой проходило немало хорошо одетых людей и чуть не через каждые десять шагов попадались кофейни, чайные, рестораны, Сизорин фыркнул, всплеснул руками, стыдливо согнулся в извиняющемся смехе:

— Парикмахер только стричь — а вши как посыплются!.. Он покрывала меняет и бросает, меняет и бросает, а они сыплются... Позорище! — заключил парень весело и с наслаждением провёл пальцами по глянцевому черепу.

У его товарища череп был странно удлинённый от лба к затылку — походил формой на дирижабль. Сизорин представил этого долговязого,

поджарого юношу как Лёньку из Кузнецка — добровольца 5-го Сызранского полка. Лёнька выглядел не лучше приятеля.

Они сегодня вышли из госпиталя. Раненые, оба ещё и переболели тифом, и им дали освобождение от службы на полгода. Вручили им и деньги — солдаты подсчитали, что хватит их, если иметь в виду только еду, лишь на неделю. А где они будут жить? Врач посоветовал проситься на поезд американского Красного Креста. Случалось, американцы брали выздоравливающих белых солдат санитарями или просто так, отлично кормили, обмундировывали и даже обещали взять в Америку.

Сизорин, захиревший, измождённый до полусмерти, вдруг заразительно рассмеялся. Вероятность очутиться в американском поезде, где всё блестит чистотой, где вдоволь сливочного масла, засахаренных стужённых сливок, а к мясному супу дают ещё и копчёную колбасу, представилась солдату неправдоподобно-комичной. Его товарищ хохотал вместе с ним.

Не поняв сначала этого веселья, Ромеев сказал:

— А почему не попроситься? Я знаю — они берут. Они — христиане, а по вашему виду всё понятно...

Сизорин, справившись, наконец, со смехом, немного обиженно объяснил:

— Да мы в этом поезде со скуки подохнем! — Тут лицо его сделалось строгим, он хотел произнести сурово, но вышло растерянно и вместе с тем поражающе искренне: — «Попроситься»... Мы столько прошли... мы... и — проситься?

Его спутник как бы жадно схватил что-то невидимое:

— Нам бы снова трёхлинеечку в руки!

У друзей было решено сегодня же ехать на фронт в свои части.

Ромеева до слёз пробрало от щемящей жалости и уважения. Он повёл ребят кормить — но не в ресторан: не то состояние души, чтобы сидеть среди ресторанной публики. Он нашёл наклеенное на стену объявление: «Обеды на дому».

Их пустили в бревенчатый флигель в глубине двора, в некогда небедную, а ныне жалкую комнату, куда из кухни было прорезано окно в стене. Хозяйка, вдова значительного в своё время местного чиновника, боролась за существование: собственное и детей-подростков.

Гостям принесли, как хозяйка назвала их, «домашние щи», в которых оказалось чересчур много капусты и совсем мало говядины, подали рубленые котлеты, открытый пирог с подозрительным фаршем.

Главное — они остались в комнате одни, никто не мешал им говорить...

Ромеев узнал из рассказа Сизорина, что Быбин погиб от ранения в живот, промучившись около суток. В бреду он поминал шурина, убитого за месяц до того, бормотал, что они в честь встречи «раздавят баночку».

Сизорин описал, как изменился Шикунев: показывал себя рьяным служакой, его произвели в прапорщики — и он стал неприступно-властным, строит из себя «военную косточку», раздобыл перчатки тонкой кожи и летом не снимает их.

Лушин, всегда носивший усы, зарос до самых глаз бородами, всё так же ухитряется находить выпивку, всё так же охотно, подолгу рассуждает.

Ромеев слушал с видом человека, который мучительно колеблется. Вдруг решил — стал рассказывать о себе...

Отложив служебные дела, повёл ребят на берег Оми, там давали напрокат лодки; он катался с ребятами на лодке и описывал свою жизнь...

Потом пошли в привокзальный сад, прогуливались и сидели там на скамейке, пили морс, а он всё рассказывал... Повторял, что грешник, однако есть у него одно: на эту войну он пошёл, как на библейский брачный пир и, «как и вы, великое юношество России, вошёл в брачной одежде!»

Многие же пошли на войну «не в брачной одежде», и к ним будет отнесено то, что в библейской притче сказали подобному человеку: «Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда хозяин велел связать ему руки, ноги и бросить его во тьму внешнюю».

Сизорин и его товарищ не поняли этой ссылки на Библию, даже как-то и не задумались. Пора было прощаться. Когда Ромеев ушёл, Лёнька под сильным впечатлением проговорил:

— Такой непреклонный к самому себе человек! Если б, к примеру, он иногда напивался и голый на четвереньках лаял, как собака, — я бы его всё равно уважал.

Сизорин убеждённо согласился.

— Большой человек! — с твёрдостью сказал он. — Великий человек!

18

То было в августе девятнадцатого...

А в феврале двадцатого поезд чешской контрразведки отбывал из Хабаровска на Владивосток. Позади остался Иркутск, где кончил жизнь проигравший Колчак. Эшелоны англичан, французов, чехословаков тянулись в Приморье, там держалась ещё белая власть.

Майор Котера распорядился пригласить в купе Ромеева. Капрал Маржак натащил с поезда любезных англичан запас джина, и майор, питавший симпатию к Володе, хотел обрадовать его.

Володя, впрочем, в последнее время и без того пил — правда, не английский джин, а продававшуюся на станциях китайскую самогонку. Пьяный, он, против обыкновения, часто брился: на земляном, с синевой под глазами лице багровели порезы.

Котера приветливо глядел на вошедшего:

— О-о, какой мы горки! Садись, выпей джин, он сладки, и ты перестанешь быть горки.

Ромеев медленно от старательности поклонился и чопорно (а как иначе держаться при таком виде уважающему себя человеку?) уселся напротив чеха. В то время как тот улыбочиво наполнял его стакан густовато-маслянистым пахучим напитком, Володя приглушённо, чтобы не так была заметна горячая надежда, спросил:

— Может, ещё будет контрудар? Может, хоть Сибирь пока от них отстоим?

Офицер молчал, пододвигая ему стакан, наливая себе, сделал Маржаку знак распорядиться насчёт свиного жаркого, наконец неохотно ответил:

— Нет, дорогой, это вже конец полный.

Володя пил и, страдальчески кривя простонародное худощёкое лицо — точь-в-точь мужик, которому костоправ накладывает лубки на поломанную ногу, — жаловался: как работала контрразведка! сколько подпольных большевицких организаций было раскрыто, сколько переловлено красных! И, несмотря на всё это, — поражение...

Котера раздумывал: этот хитрый, ловкий человек притворяется? Неужели при его наблюдательности мог он не понимать того, что давно знали чехи: белые проиграют?

Майор возразил собеседнику: чешская контрразведка не потерпела поражения. Легионеры понесли очень мало потерь (потери их, главным образом, от тифа), возвращаются на родину организованно, не без удобств, и увозят в сохранности всё то, что им нужно увезти.

Володя с ехидством повторил слова чеха:

— Увозят всё то, что им нужно. — С пылом, с болью воскликнул: — Но я ведь не за то служил! Я за белую победу служил!

Котера лукаво усмехнулся:

— Про то в твоём кабачке, в Праге, рассказывать будешь, будут слушать тебе русские эмигранты.

Ромеев сидел в немом непонимании; наконец сказал:

— В каком кабачке?

Офицер, не раздражаясь на его кокетство, терпеливо ответил: в том кабачке, который он поможет Володе открыть в Праге.

— За твои тысяч десять долларов, — пояснил Котера. — Золото, камни... всё то мы в Европе обратим на доллары.

Ромеева раздирали колебания: сдержать обиду? С губ сорвалось:

— Нет у меня.

— Говорить можешь, страхов не надо, — как мог дружелюбно увещал майор. — Семь-восемь тысяч?

— Нисколько нет! — Володю взвинтило, он стал вдохновенно доказывать, что «на эту войну пошёл по-чистому», что к его «ладони крупинки не прилипло», что «в том и виделась ему идея: чтобы среди белых оказались люди, какие досконально по-честному, безвыгодно пошли — и заради их чистого и пошлётся победа Белой России».

— Но, — сокрушённо, почти с рыданием выдал Володя, — видать, было мало таких людей.

Котера слушал, слушал и прервал:

— Тебе очэн много власти бывало дано! Я мой нос в твои дела не ставил! Не бойся, что теперь отнимать буду твоё. Я уважаю трофеи, я сам

имею мои трофеи. — Офицер искал русские слова, чтобы доходчивее выразить: с его стороны нет и намёка на желание присвоить добычу Володи.

— Я тебе европейский человек! — убеждающе заявил Котера, подчёркивая, как важно право собственности и как уважаемо им.

Ромееву стало душно, в голову бросилась кровь, потянуло бить бутылки, стаканы, он остервенело закричал:

— Не такой я-а-ааа! Не бер-ру-ууу!!!

Поезд тронулся на восток. Был морозный ветреный полдень, за окном проплывал заснеженный пригород Хабаровска, выстуженные, со сверкающими наезженными колеями улицы, застроенные домами из тёмных кондовых брёвен.

Солнце ударило в окно щедро протопленного вагона, и бутылки с джином на столике зеленовато, мягко блестели. Маржак, по приказу майора, притащил имущество Ромеева — единственный чемодан. Володя встал посреди купе, развёл в стороны руки:

— И меня обыщите!

Котера кивнул Маржаку — тот старательно обыскал русского, потом вывалил на пол содержимое его чемодана. Ни доллара, ни колечка позолоченного не нашлось. Было лишь выданное чехами в рублях жалование за последний месяц.

Котере вспомнился русский старик, который деревянной колотушкой толлок варёную картошку вместе с кожурой, залив водой, ел с удовольствием, был весел. Стоящий напротив Ромеев сейчас вот так же весел...

Нет, не так — он весел торжествуя. Его кричащая варварская гордость вдруг взбесила Котеру. Он осаживал себя, но русский продолжал смотреть с разнузданно-дерзким вызовом дикаря-повелителя (он — никакой не повелитель!). И майор приказал выбросить его из вагона.

— Все тоже монетки! — выкрикнул в ярости, матерно ругаясь по-русски и желая сказать, что велит вышвырнуть и «манатки» Ромеева.

Паровоз, сильно изношенный за время войны, тащил состав со скоростью рысящей лошади, и Володя упал в снег без вреда для себя. Неподальку валялись его чемодан, полушубок, кроличья шапка.

Он шёл назад в Хабаровск, омертвело-жестокый, как старый убийца, которого много дней травили в лесу собаками, в кармане ощущалась полновесная тяжесть револьвера, мозг сверлило: «И велел бросить его во тьму внешнюю».

19

Минуло несколько месяцев. Иржи Котера теперь отвечал за безопасность чехословаков и сохранность их грузов во Владивостоке. Ожидая отплытия в Европу, легионеры жили в вагонах, загромождавших запасные пути станции.

Помимо чехов, город патрулировали американцы, японцы, русские белогвардейцы, но это не гарантировало от ограблений. Когда взгляд

Котеры останавливался на дюже парне-смазчике, на слесаре депо или просто на каком-нибудь оборванце, майор думал, что, вероятно, ночью он крадётся под составами, чтобы ломиком сбить пломбу с вагона, набитого собольими шкурками.

Была жаркая середина лета. После обеда Котера перешёл из вагона на устроенный перед ним помост под тентом, где стояло дорогое мягкое кресло, которое ещё недавно красовалось в богатом русском доме. Белобрысый Маржак, щуплый, бодро-юркий, точно молоденький петух, принёс кофе. Котера пригласил капрала за столик, у них были непринуждённые отношения.

Говорили о происшествиях минувшей ночи: ограблен склад мануфактуры русской торговой компании, раздет донага американский лейтенант, возвращавшийся из казино... Маржак поворачивал голову вправо, острые, в белёсых ресницах глазки следили за подростком, что топтался у эшелона напротив, заговаривая с легионерами. Паренёк запускал руку в карман штанов, бережно доставал что-то и показывал чехам.

Котера, который, как и капрал, заметил его, с требовательным вниманием взглянул на подчинённого. Тот ответил на немой вопрос:

— Предлагает краденые украшения.

Оба одновременно улыгнулись: они подумали о Ромееве. Котера обронил:

— Ты чему-нибудь научился у Володьи?

Капрал понял начальника и с готовностью встал.

Когда парнишка, распродав товар, пошёл со станции, торопясь отнести выручку тем, кто его послал, и получить награду, следом потянулся «хвост».

За подростком проследили до барака в глуши пристанционной слободки. Вскоре строение окружил взвод легионеров. Ворвавшись в барак, они застали там компанию пьяных и полупьяных людей; одни, сидя на подушках, брошенных на лоснящийся от сырости земляной пол, играли в карты, другие, сгрудившись вокруг стола, ели и пили. Кто-то из компании выстрелил, и тогда чехи перебили почти всех.

* * *

Котера прогуливался между составами по чистой, посыпанной свежим песком дорожке. Завидев бегущего капрала, заинтересованно остановился.

Маржак, который, казалось бы, не отличался эмоциональностью, на этот раз не в силах был стоять, как положено, перед начальником. Сделал шаг к нему, ещё шаг и, оказавшись почти вплотную, облизывая губы, выпалил:

— Там был Володьа, господин майор!

Котера, мгновенно подобравшись:

— Он жив?

Капрал ответил «да». Он узнал Володю в человеке, что, пытаясь спастись, бросился к окну барака. Маржак ударил его прикладом и весьма вовремя заслонил своим телом: легионеры пристрелили бы его.

Майор, желая скрыть возбуждение и потому понизив голос, поинтересовался, жив ли подросток?

Нет, услышал он, парнишка убит. Пока жив лишь один раненый: когда всё было кончено, он вдруг подал признаки жизни, но никто из чехов уже не захотел добивать его.

Котера взбежал на свой помост и, сосредоточенный на какой-то мысли, ходил взад-вперёд. Наконец он опустился в кресло. Капрал докладывал: компания в бараке — обыкновенные бандиты; тела покрыты татуировками, в карманах, помимо колец, серёг, часов, найдены вырванные у людей золотые зубы.

Выслушав с въедливым вниманием, майор сказал:

— Человек хорошо служил нам, принёс немало пользы, а оказался вместе с каторжниками... Что значит варварство. Мы спасли его, мы ему доверяли, мы дали ему власть, а он был коварным гунном.

Маржак стоял и думал, что тогда, в вагоне, не надо было поить Володю джином, а если уж майор напоил его, то мог бы и снисходительно отнестись к речам пьяного человека. Сейчас Володя был бы с ними, вылавливал бы всех этих бандитов и партизан.

Котера, после того как он приказал вышвырнуть Ромеева из вагона, чувствовал неприятные сомнения, пожалуй, даже угрызения совести. Он оправдывал себя, вспоминая наглую гордость Володи — «этот цинизм», как обозначал он мысленно. Однако гадкий осадок не исчезал.

Зато сейчас стало ясно: он был совершенно прав! Как бы рассуждая сам с собой, Котера произнёс при Маржаке, произнёс словно обрадованно:

— Я ещё никого не презирал так! Я даже не думал, что кто-то может быть так презираем.

Капрал спросил, что делать с Володей и с раненым бандитом: отправить в тюрьму?

Майор поразмыслил. Тюрьма переполнена арестантами и потому неподходяща для задуманного.

Неподалёку чешская комендатура занимала здание с обширными подвалами. Подвалы были настолько сыры, что под склады их не использовали и они пустовали. Вот куда следует поместить Ромеева и его раненого сообщника...

20

Маржак, держа в руке шипящий газолиновый фонарь, спускался по крутым полуразрушенным ступенькам, освещая путь майору. Нагнувшись под низким каменным сводом, с которого капала вода, они вошли в подвал, где тяжёлая влага густо висела в спёртом, смрадном воздухе. Полчаса назад солдаты, по распоряжению майора, принесли сюда железную кровать и соломенный тюфяк для раненого. Ромееву поставили табурет.

Неровный яркий свет фонаря выхватил из темноты страшное лицо Володи — белое как известь, в исчерна-багровых ссадинах, с запёкшейся под носом кровью. К всклокоченным густым волосам прилипли паутина и какой-то сор, глаза смотрели дико.

Отсветы пламени падали на Котеру — Ромеев узнал его, но не встал с табурета. В усмешке обнажились зубы, арестованный проговорил с тоской и с мертвящей шутливостью:

— Ах, не чаял свиданьица...

Офицер, стройный, ладный, стоял, заложив руки за спину. Звучным голосом, с издёвкой и вкрадчивостью, сказал:

— Как ты мог быть с этим людьми, Володя?

У того голову сводило колотливой болью: от удара прикладом и потому, что последние месяцы каждодневно пил самогонку. Было горько, тошно. Он в отчаянии заговорил и, казалось, заговорил лишь затем, чтобы не завывать:

— Как охотники в лесу пса бросают от дури, от куражу, так и вы со мной... Обычного пса звери сжирают, ну а я со зверьми за зверя стал. Промышляли в Хабаровске, потом сюда подались — здесь добычливее. Чего ж, прощенья теперь просить у вас, что не дался волкам в утробу?

Котера дождался, когда Володя договорит, терпеливо выдержал паузу и спросил:

— А как же то, чтобы служить без корысти Белой России?

Ромеев резко, с силой закачал головой из стороны в сторону, ожесточённо ударяя кулаками по коленкам:

— Ага! ага... попали в самое-самое... срезали! Убили наповал... Да чего — хуже, чем убили. Ох, и подело-о-ом! — Он вдруг застыл и надсадно, в исступлённом страдании, стал как бы исповедоваться:

— То, как я Россию и себя понимаю: то ж ведь — тайна! А я тайну перед чужим пластать стал. За то и кара мне. Сговорился с чужим работать — работай, добывай пользу для своего дела. Но не открывай чужому потаённого, русского! А я открыл — размечтался, ишь. От безмерного мечтанья это... Белая Россия есть мечта потаённая. Иное же — смурная Расея. В Расее мечтательному человеку одно из двух: либо голубем быть сизогрудым, либо бандитом.

Котера вдруг указал на кровать, на которой чернела лежащая фигура:

— Отчего он мёртвый?

До Ромеева, захваченного своим, вопрос дошёл не сразу. Когда чех повторил, он бросил:

— С чего вы взяли? Жив он.

Фигура на кровати пошевелилась — хрустнула солома в тюфяке; грубый голос потянул с фальшивым смирением:

— Господа-а, а, господа-аа... прислали б перевязать меня. Я вам сгожусь.

Майор приказал Маржаку осветить лежащего. Мужчина на кровати — плешивый, отталкивающего вида — принялся стонать и просить снисхождения; было заметно, что у него нет передних нижних зубов.

Котера зачем-то наклонился над ним, пристально рассматривал, совсем не по-командирски топтался на месте. Куда ранен человек? Тот тягуче, обессиленно ответил:

— В башку стукнуло — кажись, рикошетом пуля... И плечо прострелено левое... вроде не задета кость-то... Мне б перевязочку...

— Как вы не мертвы с потери крови?

Раненый, пристанывая, повернулся на тюфяке, указал здоровой рукой на Ромеева, сидевшего на табурете:

— Он замотал мне... Портянку разорвал и замотал... Господин офицер, мне бы от фершала перевязку! Я... — мужчина с хитрым выражением продолжил: — Я квартиры знаю, где прячутся, кто нападают на ваших. Всех укажу!

Ромеев без интереса слушал разговор чеха с раненым, но вот в мозгу ворохнулось... Он обратил внимание, что у Котеры какой-то не свойственный ему недоумевающе-раздражённый, обескураженный вид.

Смотря на Володю, майор обращался к лежащему на кровати:

— Хорошо, тебя перевяжут! Но скажи, много вы делали грабежа вон с ним? Он делал?

Мужчина хныкающе пробормотал:

— Делали... И он, конечно.

Котера топнул ногой в замешательстве, в непонятном возмущении, у него вырвалось:

— Зачем тогда он тебя перевязал, а не... — не договорив, выругался по-чешски.

Володя привстал с табуретки, присвистнул, жгуче блестя глазами:

— Ах, вон чего-оо! А я-то не понимал...

В подвале сгустилась наэлектризованно-клейкая тишина. Её рассёк голос Ромеева:

— Завидная у вас, господин майор, память. Умно ж вы запомнили наше знакомство в Самаре... — он не щурился в резком свете газолинового фонаря, в голосе была не идущая к его виду и ко всей обстановке странная властительная твёрдость. — Думали, я, как те большевички-лазутчики, своего придушу, чтоб в жизньюшке этой остаться? Вот чем хотели меня припечатать! Как я вас донял, что покою не знаете, не припечатав-то!

Улыбаясь в надменном, в каком-то отрешённом спокойствии, Ромеев произнёс:

— Какой я есть, про то знают Бог и Ангел-хранитель России. А вы, господин майор, — дурак!

Фонарь дёрнулся в руке Маржака, капрал попятился. Котера с неотвратимой расчётливостью движений расстегнул кобуру, достал мощный армейский пистолет, оттянул затвор и дослал патрон в патронник. Не сводя потускневших глаз с Ромеева, слегка склонился к лежащему на кровати:

— Отвечать мне! Он убивал чешских легионеров?

Раздался громкий, унылый стон.

— Убивал?

Мужчина заговорил жалующимся, ненатурально-скорбным голосом:

— Вы спросили, и вам я скажу всё. Вас я не обману! Он...

Котера выстрелил в упор в говорившего. Суетливо отскочил от кровати, прицелился и ещё раз выстрелил ему в голову. Потом яростно заорал на Маржака, чтобы тот повыше держал фонарь, чёрт его дери! Он стремительно бросился прочь, а капрал бежал сбоку, освещая дорогу.

21

Ромеев заметил, что в подвал просачивается свет. Нагнувшись и пройдя под сводом к выходу, увидел, что дверь наверху открыта. Устремившись к чистому воздуху, не задумываясь — по нелепой ли случайности оказался он не заперт или же тут какая-то каверза — поднялся по выщербленным ступеням, шагнул наружу.

Он был во дворе комендатуры. Шагах в пятнадцати, у входа в здание, стоял часовой, привычно-гладкого вида чех. Часовой взглянул на Ромеева и не крикнул, не вскинул винтовку.

Володя торопливо, ненасытно дышал. Перед ним серело пустое пространство мощёного двора. Кирпичная стена отделяла двор от улицы, ворота были приотворены. Над стеной, над растущими за нею деревьями, что раскинули ветви в густой недвижной листве, — высоко, необъятно излучало тепло красно-розово-жёлтое закатное небо.

За воротами стоял кто-то спиной к двору: были видны плечо, локоть, сапог. Ожидая выстрела в спину, Ромеев — спеша в смерть — напряженно-деревянной поступью двинулся к воротам. Тот, кто стоял за ними, повернулся и шагнул внутрь. Это был Маржак, в опущенной руке он держал револьвер.

«Ага! — словно кто-то с ледяной ясностью сказал Ромееву. — Вот так оно сейчас будет!» Он не остановился — его пронизывало: «Идти как шёл или броситься на пулю?»

Чех вдруг раз за разом выстрелил в воздух. Маленький, щуплый, но уверенно-непринуждённый капрал жизнерадостно глядел на подхитившего Ромеева:

— Тебе в честь салют, Володья! Иди на свободу — приказал господин майор! — И обеими руками указал на открытые ворота, кланяясь с весёлой церемонностью.

Не веря и мучительно чувствуя бесполезность охватившей злости, Ромеев как бы одним духом прошёл мимо посторонившегося Маржака на улицу. Тот позвал за спиной:

— Стой на секунду!

Он сделал шаг-второй, третий и обернулся. Белобрысый легионер улыбался с неподдельным, ребячливым радушием.

— Очэн мы уважайм тебе, Володья! — И снова выпалил вверх.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ



**«ОЗАРИТСЯ
ВОСТОК
ПУТЕВОДНОЙ
ЗВЕЗДОЙ...»**

Дмитрий Валерьевич Кузнецов родился в 1967 г. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1993 г.). Член Союза писателей России и Союза журналистов России.

Автор книг «Русская рулетка» (1993), «Белый марш» (2005); опубликовался в коллективных сборниках «Русская школа» (1994), «Золотая аллея» (1999).

Публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Слово», «Наш современник» и др.

Тарутино

В. Бессонову

Озарится восток путеводной звездой,
Вспыхнет тверди небесной основа,
За эпохой эпоха пройдет чередой,
Век закроется веком, и снова
Под Тарутино снег упадет на луга,
На лесные деревья и тропы.
Здесь столетья назад схоронили снега
Честь и доблесть надменной Европы.
И ведь надо же было нагрязнеть войной
Ста языкам в российские дали, —
Их знамена истлели в юдоли земной,
Их сраженья Историей стали.
Сколько шло напролом безрассудных
и злых,

Слепо веривших в близость развязки!
Под музейным стеклом от героев бывших
Эполеты, кирасы и каски
Остаются следами великих побед
И жестокого зимнего краха, —
Годы славы сменили на месяцы бед
Эти люди, не знавшие страха.

Кто отдал свою шпагу в российском плену,
Кто, заложник величья былого,
Отступая за Вязьму и Березину
До печальных полей Ватерлоо,
Туго стягивал раны суконным жгутом,
Шёл упрямо в последнюю битву
И надрывно хрипел окровавленным ртом
«Viv la Imperor!», словно молитву.
И досталась ему только гибель в пыли
Да посмертная слава в итоге.
А начало всему — в подмосковной дали
Возле Старой Калужской дороги,
Где не пела на марше победная медь,
Но, в исход предначертанный веря,
Одноглазый фельдмаршал,
Как грозный медведь,
Сокрушил корсиканского зверя.

А могло быть иначе? Да нет, не могло!
 Среди русских снегов Бонапарту,
 Что Всевышний назначил,
 судьбою легло
 На штабную истёртую карту.
 Двести лет пролетело, как двадцать
 минут,
 Но минувшее — близко любому,
 Нам его из забвения книги вернут:
 Мемуары, записки, альбомы...
 Мы увидим тот век, мы узнаем врага,
 Мы ответ у Истории спросим.
 А в Тарутино снег упадёт на луга,
 Как и в ту, бонапартову, осень...

Царское Село

С. Зайцеву

Пускай снегами замело
 Тот век, которым бредим,
 Поедем в Царское Село,
 Когда-нибудь поедем.

Всё те же там особняки,
 Гранит и позолота
 И ностальгической тоски
 Пронзительная нота.

Но нет гусарских кутежей
 И плац-парадов чинных,
 А лица царственных мужей
 Глядят с холстов картинных.

Там не увидишь поутру
 Прекрасной Незнакомки,
 Там застывают на ветру
 Минувшего обломки.

Там всё не то и всё не так,
 И лишь в неясной дали
 Мелькают то лицейский фрак,
 То шлейфы и вуали,

То гумилёвский силуэт,
 То взор императрицы...
 Всё то, чего давно уж нет,
 Что может только сниться.

Ушли в изгнанье господ
 Блистательного мира,
 Ушли в былое навсегда
 Балы, чины, мундиры.

Но жизни суетной назло,
 Вновь ветрены и пьяны,
 Поедем в Царское Село
 Сквозь мутные туманы!

Пусть время давит тяжело,
 Но — всё же, всё же, всё же
 Поедем в Царское Село!
 И — помоги нам, Боже!

Эхо Великой войны

1

Везде и всюду — за тобой.
 Среди любой беды и боли
 Мы связаны одной судьбой,
 Одним дыханием и волей.
 И снова за верстой верста
 Мелькают в рельсовом уклоне
 Под знаком Красного креста
 На санитарном эшелоне.
 Я слышу перестук колёс,
 Раскаты близкой канонады...
 Моя любовь — без слов и слёз,
 Иной любви уже не надо.

2

Когда, словно тоненький волос,
 Колеблется жизни струна,
 Я слышу спасительный голос,
 То — Господа молит она.
 И дикая музыка боя,
 Летящая вихрем ко мне,
 Стихает пред этой мольбою
 На залитой кровью стерне.

3

Пускай у тебя впереди
 Окопная стылая мгла,
 Но ты за собою веди
 Меня, словно нитку игла.

И если погаснут лучи
Над срезанным смертью жнивьем,
Я буду светиться в ночи
Звездой на погоне твоём.

Памяти В. В. Звягинцова

1

Как будто на давнем параде
Гвардейского строя клинки,
Мерцают в весенней прохладе
Ночных фонарей огоньки —
Туманно, размыто, неярко...
И счастье безмерное — в том,
Что где-то за липами парка
Знакомый с младенчества дом
Стоит, не подверженный злему
Дыханию новых ветров,
И можно, грустя по былому,
Увидеть родительский кров,
А после воскресной обедни,
К исходу земного пути,
Единственный раз и... последний
Отцовской аллеей пройти.

2

Он прожил век в чужом краю
И погребён в земле иной,
Но землю прежнюю свою
Считал единственно родной.
Он посвятил своей мечте
Весь сплав таланта и труда.
Он русский более, чем те,
Кто был на родине всегда.

Montmorency

Осколками родины милой,
Обломками прежней Руси
Лежат, осыпаясь, могилы
На кладбище Монморанси.

Не звонкий канкан Мулен-Ружа,
Не танго последних времён, —
Здесь русское прошлое кружит
Мелодией русских имён,

Стихая с молитвенным вздохом,
Взлетая на крыльях теней...
Но мы по ушедшим эпохам
Не бродим в сплетении дней

И музыки вечной не слышим...
Под бешеный рокот и вой.
Нас время, как ветер по крышам,
Уносит опавшей листвою.

* * *

Солдатики и пушки,
Обломок палаша...
Военные игрушки
В руках у малыша.
И сам-то он упрямо
Лишь учится ходить,
Но если рядом мама,
Его не победить.

А где-то за Двиною —
Окопы и пурга,
Там тешится войною
Безносовая карга,
Гроза косою и ямой,
Не ведая, что тут
Её «Прекрасной дамой»
Уже полвека ждут.

Она ворвётся зверем,
Растлением дыша,
И выкинет за двери
Из дома малыша,
Чтоб вечным эмигрантом
Он помнил даму ту
В шинели с красным бантом,
С сигаркою во рту.

А те, кто жить решили
Без Бога и Царя,
Себя передушили,
Построив лагеря.
Такие жизни, право,
Не стоят и грошей,
Из них — одна отравы
Для новых малышей...

Тост Чёрных гусар

Уже — ни полка,
 Ни мундира, ни славы...
 Былая элита,
 Мы в бездну идём.
 И Божья рука
 На руинах державы
 По новой пробита
 Железным гвоздём.
 За эти мгновенья
 Потерянной веры
 Лишь злость и вину
 Бросят с нами в гробы.
 Но — лопнули звенья
 Смертельной химеры,
 Зажглось на Дону
 Пламя Белой борьбы!
 Пьём чашу сию
 Среди стихийного рёва,
 Где души горят
 На осколках брони, —
 За счастье в бою,
 За стихи Гумилёва,
 За любящий взгляд,
 За грядущие дни!

* * *

Кирас простреленных брони,
 Клинков иссечённые гарды...
 Во все века среди огня
 Я вижу вас, кавалергарды.

Волной решительных бросков,
 Слепым порывом «либо-либо»,
 Свинцом, звенящим у висков,
 Разящим лезвием изгиба

Судьбы, истаявшей, как снег
 На поле Марсовом в апреле,
 Вы начинали свой разбег,
 Вы чистым пламенем горели...

Но светлый лёд дворцовых плит
 Покрылся копотью и смрадом,
 Имперской славы монолит
 Всё сокрушил своим распадом.

И вот — последние из вас
 Идут под грохотом шрапнелей
 В броне простреленных кирас,
 В сукне изорванных шинелей...

* * *

Это было и будет
 Среди земной суеты:
 Снова видятся люди
 У последней черты.
 А за гулом народа
 Слышен прошлого гул —
 Пулемётного года
 Сумасшедший разгул.
 Неотвратно, упруго
 Тянет камнем упасть
 Красно-белого юга
 Воспалённая пасть.
 И томит неизбежность,
 И пронзает виски
 Петербургская свежесть
 У французской реки.

* * *

Солдаты, солдаты, солдаты,
 Железной присяге верны,
 Всё время уходят куда-то
 По пыльным дорогам войны.
 Их век безнадежно короткий,
 Им судьбы диктует игра,
 Пока оловянные глотки
 Распахнуты криком «ура».
 Но облик их помнят гравюры,
 И вот за музейным стеклом
 В старинных мундирах фигуры
 Века говорят о былом.
 Камзолы, вальтрапы, колеты,
 Узоры, покрой, цвета, —
 Фрагменты мозаики этой
 Вернутся в иные лета,
 Чтоб наши далёкие внуки,
 Которым державу хранить,
 Восприняли в верные руки
 Военной истории нить.

На улицах наших

На улицах наших, не новых,
старинных,
Давно не увидишь названий былых,
Тех самых — Вишнёвых, Грушёвых,
Рябинных,
Простых и наивных, но вовсе
не злых.

На улицах наших давно поселились
Перовская с бомбой, Дзержинский
с мечом,

Подвойский, Урицкий и весь
большевицкий,
Залепленный plombой, вагон
с Ильичом.

На улицах наших скрипят
башмаками
Каляев и Войков, как мука и страх,
И Киров всё душит и душит руками
Котов на помойках, бомжей
во дворах.

По улицам нашим бредёт
Луначарский,
И Крупская рыщет ночью совой,
И Пестель зовёт выпить кровушки
царской,
И Разин лохматой трясёт головой.

На улицах наших Марат гильотину
Уже приготовил для каждой семьи.
На улицах наших сам Ад в паутину
Сплетает дела и названья свои.

И, как ни крути, по закону природы,
По Божьему слову, что крепче брони,
Когда на пути — палачи и уроды,
Всей жизни основу ломают они.

На улицах наших, на улицах наших
В столетие ином льётся той же рекой
Советско-немецко-бандитская каша,
И бронзовый гном тычет в небо рукой.

К портрету Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны

М. Богомоловой

Он был одной из самых прочных
Имперских скреп, и потому
Врагов России днём и ночью
Душила ненависть к нему.
И до сих пор потоки грязи,
Салонных сплетен, светской лжи
Ещё направлены на князя,
Как ритуальные ножи.

...Среди разящего металла
Со стоном дрогнула земля,
Когда на части разметало
Опору трона у Кремля.
В потоке огненного света
Над окровавленным тряпьем
Бесслёзная Елизавета
Молила Господа о нём

И прозревала сердцем вещим,
Что позабудет Божий храм
Страна в сиянии зловецем
Остроконечных пентаграмм,
Что целый век и даже боле
За тех, кого на части рвёт,
Русь будет корчиться от боли,
Но эту боль не изживёт.

Несётся времени карета,
И мы, устав от суеты,
Вдруг замираем у портрета
Великокняжеской четы.
На нас глядят из дальней дали,
Пронзая души и сердца,
Те, кто России не предали
И были с Богом до конца.

К памятнику императора Александра III в Новосибирске

Там, где небо прошито дробью
Звёзд, вспоровших полночный мрак,
Император застыл над Обью,
Чуть замедлив суровый шаг.

На железном его мундире —
Двух столетий седая мгла,
Неоглядная ширь Сибири
У подножья его легла.
Император! Из тёмной сини
Он глядит сквозь круженье лет,
И на плечи его Россия
Давит тяжестью эполет.

Этот памятник-наважденье,
Будто вещей державный Рок,
Знаменует собой рожденье
Транссибирских стальных дорог.
Над Байкальской хмурой бездной,
Над Алтайскою цепью гор
Волей царственной, железной,
Вековечный пробит простор,
Чтоб столетия неустанно
Мчал Империи вал стальной
До Великого океана,
До предела, на край земной!

Миротворец, строитель, воин,
Божьей милостью Государь
Твёрдо-холоден и спокоен...
Но — густеет ночная хмарь.
Меркнут звёзды, звереет ветер,
Вырастает чумной фантом, —
Нет покоя на этом свете,
Нет забвенья на свете том,
Лишь года пролетают тенью...
Но — стоит пред бесовской тьмой
Этот памятник-наважденье,
Строгий символ Руси живой!

На мотив Дроздовского марша

Над Москвою небо хмуро.
И во мгле стоит она
Цитаделью Порт-Артура,
Что разбита и сдана.

Там чернит былую славу
Золочёная пыльца,
Там хрипит Орёл двуглавый
Под копытами тельца.

Но нельзя в болото вжаться,
По-звериному скуля, —
Нам не первый раз сражаться
У былинного Кремля.

Снова власть схватили воры,
А, казалось бы, вчера
Эти башни и соборы
Защищали юнкера.

Прежних бед испита чаша.
Сквозь эпохи и века
Пролегла дорога наша
Гранью русского штыка.

Мы прошли по этой грани
В восемнадцатом году,
Мы от Дона и Кубани
Гнали красную орду.

Всё, что свято и любимо,
В душах сорванных храня,
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.

Дни и судьбы — в Божьей воле,
Но, столетье пережив,
Мы уже не верим боле
Тем, кто суетен и лжив.

Пусть кружатся бесы роем, —
Чуждой силе вопреки
На Руси железным строем
Встанут Белые полки.

Полетят казацьи лавы,
Вспыхнув сталью и свинцом,
Воспарит Орёл двуглавый
Над поверженным тельцом.

А покуда небо хмуро,
Лишь былые времена —
Нам твердыня Порт-Артура
И редут Бородина.

Алексе де Клемешье



НА ИВАЕВСКОЙ ВЫСОТЕ

Рассказ

Алекс де Клемешье, 36 лет, москвич.

С детства был увлечён поэзией, в 2005 г. начал писать рассказы. Неоднократный призёр и победитель сетевых литературных конкурсов, в 2010 г. стал победителем в номинации «Конкурсных дел мастер» на международном фестивале фантастики «Серебряная стрела». Рассказы в разное время публиковались в журналах и сборниках.

Работал главным редактором детского журнала фантастики, в настоящий момент — руководитель торговой фирмы.

Когда впервые за туманами запахло огнём,
Он стоял за околицей и видел свой дом,
Картошку в огороде и лук у реки.
Он вытер слезу и сжал кулаки,
Поставил на высоком чердаке пулемёт
И записал в дневнике: «Сюда никто не войдёт!»
...Красные пришли — и обагрили закат,
Белые пришли — и полегли, словно снег,
Синие — как волны откатились назад,
И всё это сделал один человек,
Молившийся под крышей своим богам,
Молившийся под крышей своим богам...

«Наутилус Помпилиус» — «Последний человек на земле»

Лейтенант был лопух и чрезвычайно стеснялся этого. Под неотрывным взглядом сидящего напротив, через стол, деда Ильи он краснел лицом, суровел тонкими губами и принимался ещё громче стучать пальцами по клавиатуре ноута. А дед Илья, может, и глядел на уши лейтенанта, но самих ушей не примечал, а думал примерно так, что вот, мол, сидит Гринька Колобоков, который Захара Колобокова правнук; кто уехал этот Гринька в город, и выучился на милиционера, и два года проработал в Томске участковым, а теперь — вот, армейский командир. Может, их, милиционеров, всех сразу мобилизовали, а может, он и добровольцем пошёл. Дед Илья, оглаживая кучерявую «боярскую» бороду, пытался припомнить, каким пацанёнком рос нынешний лейтенант Колобоков, но вспоминалось только, что был Гринька дюже терпеливым. Другие дети, к примеру, рассадят коленку и ревут, а этот зубы стиснет — и молчит. «Уж такой терпеливый, что даже бабу перетерпит!» — подумал дед Илья и шумно, во всю сажённую грудь, вздохнул. Привлечённый вздохом, лейтенант поднял голову.

— Так, стало быть, все?.. — строго спросил Колобоков и пуще прежнего застенялся: во-первых, своего бывшего односельчанина он крепко уважал и даже побаивался, и собственный строгий тон вдруг показался неуместным; во-вторых, Григорий, целый вечер общаясь со стариком, так и не смог вы-брать, как же его называть — по имени-отчеству, официально, или дедом Ильёй, как в детстве, или дядькой Ильёй, как, например, отец и старшие братья. Он уж раз десять примерялся то на «вы», то на «ты», сбивался и сердился. Прокашлялся, начал заново: — Точно, говорю, все эвакуировались?

— Врать буду? — удивившись бровями, откликнулся дед.

Теперь уже лейтенант молча и неотрывно смотрел — наверное, по милицейской привычке, и могучие плечи старика под таким взглядом увядали, скукоживались. «Вот ведь, холера задери! — с тоскою думал дед Илья. — Любую бабу перетерпит! Иная баба — она куда терпеливее мужика бывает, а уж этот Гринька!.. Ох уж, этот Гринька...»

— Ну, считай... — Чтобы хоть как-то укрыться, выйти из-под взгляда, дед принялся загибать мясистые пальцы. — Фроловы третьеводни все съехали, Лузгины тогда же. Почитай, как загрохотало — так и собрались. Колобоковы — не твои Колобоковы, а которы у ручья, — те сперва скот перевезли, потом вещи, потом уж и сами подались. Как скот перевозили — это же смех один! Лошадёнки-то их к кузову машинному привычные, их кажное лето на дальни покосы отправляли, а вот корова с овцами — это, я тебе доложу, водевиль!.. кхм...

— Дед Илья, — тихонько перебил лейтенант, — я ведь не про них. Эти у меня все тут отмечены. — Он постучал ногтем по ноуту. — Кто, когда и даже куда. Последних, сам знаешь, мои же ребята и перевозили. Кто совсем без родственников, без пристанища — те пока в лагере под Томском. Завтра-послезавтра эвакуация дальше двинется, на север. И никого здесь не останется, понимаешь? Совсем никого! Машина, на которой я приехал, она ведь последняя! Больше рейсов не будет. А у меня тут, в компьютере, ещё один человек числится.

— Неправда твоя! — вскинулся дед. — Не может ентот человек у тебя числиться!

— Это почему же?

— А потому что я весной в переписи не участвовал! Я тогда на длинной рыбаловке был — меня и не переписали. Мож, решили, что помер, мож, подумали, что в други каки места подался на старости лет... А только опосля я всё лето пенсию не получал, потому как в ведомости меня нету! Енто что же, для пенсии нету, а для эвакуации — есть?

Лейтенант побарабанил пальцами по шероховатой дубовой столешнице, поморгал на ситцевую занавесочку над печкой и вдруг заоглядывался, впервые дивясь размерам горницы деда Ильи — это как же он в такой комнатёнке поворачивается? С другой стороны, небольшой дом — меньше хлопот одинокому мужику.

— На рыбалке, говорите? — раздумчиво переспросил Григорий. — Это вы, наверное, на осетра ходили, а?

— Ишь ты! — нахмурился старик. Рыбалка — это дело личное, можно сказать, интимное, и не принято задавать вопросы, раз тебя с собою не позвали. Тем более если ты милиционер, пускай и бывший, и из местных, и лучшего дружка правнук. — А хучь бы и на исетра!

— На дальние заводы или на Обский Мостище?

— А хучь бы и на Мостишше! — совсем осерчал хозяин.

— Красиво там... — мечтательно улыбнулся лейтенант. — Сто лет не был! Красиво ведь, а? Я помню, там кедрач... На заводах — там все больше осокори, а на Обском Мостище — пушистый такой кедрач. С того берега смотришь — будто мох на камнях, ладошкой проведи-потрогать хочется...

— Ишь ты! — оттаивая лицом, повторил дед.

— Я ведь всё понимаю! — вдруг жарко зашептал Гринька. — Я и сам к этим местам душою прикипел, а уж вы-то!.. Я, вон, все зубы искрипел-искрошил, приказы исполняя — отступаем, отступаем, эвакуируем, и никакой ведь надежды!

— Никакой?

— Совсем!

— И ничем его не возьмёшь?

— Да уж всякие средства попробовали — бесполезно! Ты даже не представляешь, какие у нас теперь технологии, какие секретные разработки в дело пущены, какое вооружение! А ему — что комариный укус!

— И откель же такой супостат на наши головы? — качнул бородою старик.

— Монарх-то? Дед Илья, а ты в астрономии силён? А то я могу на компьютере показать, откуда он явился. Показать?

— Да ну! — отмахнулся хозяин. — Ты мне только скажи — он и взаправду со звёзд? Побожись!

Теперь уже отмахнулся лейтенант.

— Пол-Китай прошёл за неделю, Казахстан задел, Монголию выжег. Столько народу полегло, дед! Ужас просто! День-другой — тут уже будет. А ты кочевряжишься, ехать не хочешь...

— Н-но! — встрепенулся хозяин.

— Да я понимаю, понимаю, — поник плечами лейтенант, нащупал на краю стола фуражку, надел. — Кого другого я б и слушать не стал — у меня, вон, целый взвод в машине для таких целей, чтоб не слушать. А вот *твоё* решение — да, уважаю. Потому что не блажь это, не упертость стариковская, а... — Ближнее к нему окно выходило на Иваевскую горку — там, в темноте, в ельнике, уже густился туман, подошедшим тестом выпирая то тут, то там меж стволов и лапищ. Посмотрел в то окно Гринька Колобоков — и такая тоска полилась из его глаз, что дед Илья даже оробел слегка. — Мне бы тоже тут помереть хотелось, — совсем тихо проговорил бывший односельчанин, а теперь армейский командир, — вот прям тут, у ручья, под той вон елью! Но завтра лагерь дальше перевозить, под Томском который, там три тысячи четырёхста восемьдесят человек... из окрестных сёл... а потом ещё... и это...

Так, что-то почти беззвучно бормоча, зажав подмышкой ноутбук, лейтенант, не прощаясь, вышел из горницы, хлопнул дверью. Хозяин несколько минут сидел недвижно, потом покачал головой, вздохнул шумно.

— Ты терпеливый, Гринька. Ты перетерпишь.

Он поднялся с лавки, упёрся пудовыми кулаками в стол, постоял так раздумчиво, посопел носом. Следовало бы протопить печку — да время уж позднее. Следовало бы натаскать воды — так, обратно же, полночь скоро. Может, и поесть бы следовало, но не любил дед Илья с полным животом спать укладываться. А и сна-то ни в одном глазу, хотя денёк выдался суматошный. И какой-то... душещипательный, что ли? Проводы, проводы, прощания...

Дед Илья повернул голову к большой картинной раме на стене. По местному обычаю, вместо пейзажей или, там, натюрмортов, в рамы помещались фотографические карточки. Разнокалиберные снимки топорщились желтевшими уголками, налезали друг на друга, образуя понятную только хозяевам обрамлённую мешанину поколений. Среди десятка-другого фотографий старик отыскивал взглядом фронтowego дружка Захара. Кро-охотный был снимочек, выцветший совсем, неприметный, а видел и понимал поболее живых людей. Так, во всяком случае, деду Илье давно уже казалось.

— Вот что, Захар, хочу тебе сказать, — прогудел он, перетаптываясь с ноги на ногу, а руки всё так же в стол упирая. — Нынче ты двум сценам был сосвидетелем. Первая сцена в двенадцатом часу дня произвелась. Это, значит, когда Евдокия Матвевна прощаться прибежала. Вот тут, в дверях, застыла — и молчит. Вроде укорят меня. А я-то вижу, что сердце у ней буквально выпрыгиват. Это почему? А потому, дружка Захар, что не досиданькаться она сюда зашла, а хоронить меня заране. Хо-ро-нить! С поминками. А? Каково? Мне бы её, голубушку, пожалеть да расцеловать перед расставаньем, а меня така злоба взяла! Нет, ты ж видал: я грубости не допустил. Но ведь и не попрощался честь по чести!

Дед Илья оторвался от стола, обошёл его, наклонился к низкому окошку, вгляделся в туман и темень Иваевской горки. Тишина стояла окрест — не брехали в опустевших дворах собаки, не взмывивали возле вымени телята, не трещали бензопилы на дальней лесосеке. И там, за тайгой, где три дня нещадно громыхало, сейчас тоже было тихо.

— Друга сцена, значит, только что образовалась. Твой-то правнучек тебя и не заметил, а? Мож, и не знат, что ты тут висись? Кхм... Вот ты в какой момент угадал, что он не станет мне руки выкручивать и силком в машину тащить? Я, к примеру, в такой момент угадал, когда он мне хотел на планшетке своей показать, откуда Монарх к нам явился. Мож, и не большой секрет, и не военная тайна вовсе, не стану спорить. Мож, по теревизиру сто раз об ентом сообщили. А только Гринька-то с таким видом предложил, будто бы напоследок подивить хотел, чтоб, значит, обриванненько помирать мне приятнее было. Какой с мертвяка спрос, даже ежельше он секреты знат? Слышь, Захар? «Я понима-аааю, понима-аааю!» А сам-то, правнучек твой, ни черта не понимает! Так-то...

Дед Илья обнаружил пяткой скрипучую половицу, потопал по ней, цыкнул досадливо зубом.

— Завтра подновить надобно будет. Непорядок, ежельше в доме скрипеть начнёт, кто ни попада! Утром машинку нашу достану, расчехлю-распакую, всё подготовлю, а останется время — так и за половицу возьмусь. День дли-иинный... Слышь, Захар, а ты машинку-то нашу помнишь? Это ж не машинка, а сплошная глобальная катастрофа, хех-хех! Кирдык всему, хех-хех! Смертоубийство одно! Вот и поглядим мы на Монарха тогда, холера его задери!

* * *

Сколько себя помнил, спал дед Илья помалу, особенно в летнее, светлое время. Молодость сейчас всплывала чем-то далёким и смутным, но старик был уверен, что и тогда не мог дрыхнуть подолгу — от этой самой молодости, кипучести характера, от жадности к жизни. В зрелые, трудовые и военные, годы и вовсе было не до того, чтобы дремать, сколько влезет. Сейчас же, в возрасте, который и представить себе трудно, засыпал дед Илья крепко, высыпался быстро, сны видел короткие, но яркие, а поднимался ещё до первых солнечных лучей. Если не был занят домашними или какими ещё заботами, присаживался к столу, подпирал бороду кулаками и смотрел в низкое окошко. Сплошная, шершавая, непроглядная по причине темноты Иваевская горка едва заметно и тревожно пошевеливалась, вздыхала туманом. А потом начинало происходить чудо: мрак протаивал, будто пролитые чернила постепенно впитывались в песок, и вот уже прямо перед стеклом возникала тоненькая веточка, которой мгновение назад совсем не было. Сразу после веточки появлялись звуки и запахи, словно кто-то невидимый поворачивал выключатель — вот скрипнул в чаще старый кедр, вот вторила ему задетая ветерком соседская калитка, вот пичуга проснулась — будто заново петь учиться и пока ещё стесняется концерттировать в полный голос; вот тугой лесной дух толкнулся в лицо, сперва только хвойный, древний, звериный, потом к нему подмешивался запах йода с реки, затем уж и тонкие струйки прибегали — цветов и трав, молока и мёда. Ну а потом этот кто-то выкручивал выключатель до конца, на максимальную мощность — и взрывалась тайга петушиным криком, коровьим мычанием, собачьим лаем, рыком тракторов и бензопил, ароматами навоза и солярки. На самой верхушке горки возникал пожар, сначала медленно, а затем быстрее и быстрее, опасно и радостно катился он кипящим валом по лапам елей вниз, к дому деда Ильи, и очень дед Илья этот момент любил, любил переживать его снова, робел и тревожился — а ну как сегодня по-другому выйдет? Но выходило всякий раз так, как надо, правильно и исконно, как и прошлым летом, как сотню и даже тысячу лет назад.

Сегодня всё пошло наперекосяк. Во-первых, старика очень рассердил сон: он, молодой ещё Илья, рыбалит на порогах, стоит на камнях, об-

даваемый тучей брызг, от которых не спасает ни зюйдвестка, ни шитая на заказ брезентовая спецовка; то слева, то справа от Ильи осетры медленно, по-коровьи высовывают из воды морды, Илья неторопливо, степенно поворачивается к ним и стреляет из рогатки. Подбитые рыбины послушно плывут на мелководье, где и укладываются штабелями.

— Это что же?! — возмущался проснувшийся старик. — Это где же видано, чтобы на исетров с рогатками ходили?! Да разве ж исетры таки дураки, чтобы морды под рогатку подставлять?

Расстроенный, раздосадованный несправедливостью сна по отношению к рыбалке вообще и к осетрам в частности, дед Ильи кое-как оделся и пошел к окну, но сосредоточиться не мог.

— Придумают же! — сердито качал он головой, от возмущения не принося пока изменений — не мычали коровы, не лаяли собаки, не хлопали калитки, не перекрикивались соседи; изменений логичных и ожидаемых, но неприятных и незаметно, подсознательно раздражающих.

Раскачивался на лавке, маялся дед Ильи, таращась в окно невидящим взглядом, затем не выдержал, стукнул кулаком по столу.

— Они бы ишшо показали, что я на медведя с рогаткой!!!

Кто такие, эти «они», которые сны показывают, дед Ильи не знал, но в этот момент презирал и даже ненавидел их за недостоверность.

Будто откликнувшись на удар кулака, содрогнулась земля, дёрнуло занавески, закачался под потолком выцветший плафон люстры, в сенях свалилась с гвоздя сеть. И, самое удивительное, пронеслась за окном заполошно трепыхающаяся, пищущая тень. Дед Ильи не то чтобы испугался, но вздрогнул от неожиданности, поднялся в недоумении.

— Енто что же деется? — спросил он у люстры и, не дождавсь внятного ответа, направился к дверям.

Нет, не взрыв его удивил — к сотрясанию почвы он был готов, потому как знал о надвигающейся на него войне. А вот летающие и по-птичьи пищущие под окнами тени — это из какой же оперы?

На высокой, недавно подправленной завалинке сидел перепуганный петух.

— Тьфу ты! — в сердцах махнул рукой дед Ильи. — Я уж думал — космический Монарх пожаловал, а тут!.. — Он в нерешительности потоптался. — Ты чей же будешь, а? — Помолчал задумчиво, пошевелил усами. — Я так считаю, что енто Фроловы тебя забыли, потому как у Фроловых петухи завсегда нарядные были. Ишь ты! Блестишь-то как!

Действительно, скатившийся с верхушек елей рассветный пожар ярко вспыхнул на петушиных перьях, отливающих медью и золотом с васильковыми прожилками.

— Ну, сиди, блести себе, — разрешил дед Ильи. — А я, значит, раз ты меня всё одно выманил из дому, пойду гляну, далече ли енто грохотало.

Иваевская горка, может, и не была высокой, и даже серьёзным холмом не считалась, но видно с неё было далеко во все стороны. Обычно дед Ильи, молодецкато расшвыривая сапогами остатные клочья тумана, добирал-

ся до вершины минут за пять, но сегодняшнее утро не задалось во всем. Петух позволением блеснуть на завалинке не воспользовался, увязался за стариком, поминутно забежал вперёд и путался под ногами.

— Натурально собачонка! — останавливаясь, изумлялся старик, обходил помеху и через пару шагов вновь останавливался. Петух и рад бы не мешаться, но птичьих ног не хватало придерживаться нужного темпа, а плестись в арьергарде он никак не желал.

В результате, на вершине горки дед Илья оказался только через полчаса — и тут снова громыхнуло. Капельки росы, блестящие на кончике каждой сосновой иголки, брызнули в лицо, с гомоном вспорхнули перепуганные птахи, заметался в папоротниках петух.

Как известно, звук, свет и колебания почвы распространяются с разными скоростями, и потому, выбравшись на свободную от подлеска площадку, дед Илья застал гриб уже во всей чудовищной красе — грязно-дымным солнцем на ножке поднимался он над далёким горизонтом. Когда-то давным-давно старик оказался свидетелем испытания бомбы — тогда ядерный шампиньон был виден с двухсот километров, а в ста километрах от эпицентра, говорят, люди получили ожоги. Сейчас гриб был, похоже, дальше, но и мощность его была неизмеримо больше.

Старик досадливо покачал головой. Вчерашний тихий день подарил слабую надежду на то, что продолжения не последует. Почему бы и нет? Дошёл Монарх до границ земли русской, подивился красоте бескрайних просторов — да и решил пощадить вековую тайгу, осетров в тихих заводях, покинутые деревеньки и города и, самое главное, людей, в панике пятящихся от приближающегося супостата. А вышло, что зряшной надежда оказалась.

Было, правда, непонятно — Монарх ли атомную бомбу взорвал, или это наши его атаковали. Говорили, что у Монарха всё больше лазерное оружие, но кто знает? В любом случае, короткая передышка кончилась.

Отвернувшись от ядерного гриба, дед Илья обратил лицо на северо-запад, туда, куда отступала армия и эвакуировались мирные жители, посмотрел с тоскою над верхушками сосен и кедров, за деревню, за ширь реки, втянул шумно носом, шепнул в бороду:

— Отзовись!

И, уже не оглядываясь, принялся спускаться.

* * *

По причине хорошей погоды и отсутствия посторонних глаз «машинку» дед Илья решил собирать во дворе, на садовом столике, врытом в землю под старой осенней яблоней. Лазить в погреб за завернутыми в промасленные тряпицы частями пришлось трижды, и придётся ещё раз — уже потом, когда время подойдёт, за льдом, всё лето не тающем в «холодном» углу погреба.

Разложив на столе части, дед Илья каждую взял в руки, каждую придирчиво осмотрел, протёр, почистил и смазал, где требовалось.

Петух всё это время находился поблизости — то копался в земле в поисках червей, то взлетал на самый край стола и с интересом, склоняя голову то влево, то вправо, наблюдал за действиями старика.

— Натурально собачонка! — повторял дед Илья, неторопливо, вдумчиво прилаживая одну деталь к другой. — Раз уж ты со мною остался, надобно имя тебе дать. Потому как без имени — енто не дело.

Временами тишина образовывалась такая, какой отродясь в этих местах не бывало. Казалось бы, не такими уж и шумными были односельчане деда Ильи, а вот сейчас выяснилось, что звуков они производили много, и теперь ухо даже скучало по трескучести бензопил на лесосеке и моторок на реке, по гулу тракторов на вырубке и автомобилей на трассе, по свисту и гомону детворы, по скандальной речи склочной бабки Аксиньи и залиvistому лаю соседского Верного. Даже птицы обморочно молчали после взрывов, даже пчеле какой-нибудь захудалой было невоготу прожужжать над ухом.

Там, на юго-востоке, уже не громыхало, но дед Илья откуда-то знал, сердцем чуял, что Монарх невредим, что наступление продолжается, что ещё день-другой — и встретятся они лицом к лицу...

— Я несколько главных вещей не спросил у Гриньки, — пробурчал дед Илья, то ли возвращаясь к прерванному разговору с фотографией фронтового дружка Захара, то ли к петуху обращаясь. — Перва главна вещь такая: что же, Монарх ентот космический, — он сам в атаку идёт или со звезды за армией наблюдают? — Старик даже задрал голову, хотя звёзд, понятное дело, в полдень видно не было. — Потому как со звезды — оно, конечно, удобней наблюдение вести. Всё поле боя — как на ладони!

Щиток не хотел устанавливаться. Завершающий штрих — и вот ведь незадача! Уж и так дед Илья приноравливался, и эдак, и кулаком пристукивал, и снизу заглядывал — бесполезно.

— Друга главна вещь, — побряхтывая от усилий, отдельно продолжал он, — енто как выглядит Монарх. Потому как, ежельше он самолично в атаки ходит, мне его внешность знать обязательно надобно! Вот отсеку я фланги, внесу сумятицу, обращу в бегство — а как понять, который из них главный? Кого спрашивать-то буду? На каком языке? Мож, у него знак есть отличительный? Аль шрам какой?

Щиток наконец нашёл положенное место, скользнул в пазы, защёлкнулся. Заулыбавшись, дед Илья отстранился, с гордостью и удовольствием оглядел дело рук своих, притопнул на радостях, подмигнул петуху.

— Кирдык всему, говорю, точно!.. — Пожевал губами, почесал макушку. — Конечно, можно тебя Жар-птицей величать, но нельзя, потому как длинно. Можно Петей, но обратно нельзя, потому как какой же ты Петька, ежельше я не Чапай, хучь и с пулемётом? — Посмеявшись собственной шутке, старик посерьёзнул. — И Флюгером звать не стану, потому как грубо и иностранно. А поскольку ты однозначно в собаки метишь, буду звать тебя Полканом — хучь и не собачье вообще-то имя, и не птичье уж точно, да кто ж упрекнёт?

Петух Полкан и к обретенному имени, и к собранной «машинке» отнёсся благосклонно.

— А пулемёт я на горке поставлю. Как считаешь? По-моему, хорошее место. Обратное же — позади село, дом. — Старик вытер тряпичной ладонью, оглянулся в сторону реки. — Это *им* было куда отступить. И *ему* есть куда — звёзд много, улетай, никто не держит! А мы с тобою посерединке, Полкан. И нам отсель двигаться никак нельзя. Некуда.

* * *

До самого вечера дед Илья был занят так, что совершенно забыл про скрипучую половицу в горнице. Вспомнив, поморщился с досадой, махнул рукой — потом, дескать, поправлю, после боя.

Руки-ноги гудели от усталости — приятной, трудовой, забытой уже. Сперва он предусмотрительно наполнил ключевой водой пузатый молочный бидон, отнёс на Иваевскую горку. Отварил картошки, яиц, ополоснул добрый килограмм огурцов, начистил луку, упаковал всё аккуратно в полиэтиленовые мешочки, отнёс наверх второй ходкой, прикопал в тенёчке. С фронта помнил, каково это — остаться без еды и питья, если противостояние затягивается. Потом вырыл невесть когда закопанный на огороде ящик с патронами — тяжёлый, холера! Переживал за ленты — вдруг материя истлела? Но нет, обошлось. Оттащил на горку ящик, затем откатил туда же «машинку», установил прочно и удобно. Ребристый кожух «Максима» сиял на солнце так, будто не сто лет назад пулемёт был сделан, а только вчера. Подумал-подумал — и отнёс на всякий случай необъятный тулуп и ещё более необъятную брезентовую рыбацкую спецовку: вдруг дождь начнётся или ночью наверху сидеть придётся?

Всякий раз дед Илья ненадолго задерживался на вершине, стоял и смотрел. Нет, не в сторону Монарха — чего туда смотреть-то? И так ведь понятно, что близко уже. Глядел старик за реку, за тайгу, глядел с ожиданием, всякий раз шёпотом уговаривая:

— Отзовись! Ответь! Откликнись!

Но, видимо, не дожидался, не слышал ответа и потому спускался, сокрушённо качая головой. Полкан то сопровождал его, то оставался внизу по каким-то своим петушиным делам. Чудно ему, наверное, было разгуливать по совершенно пустому селению, беспрепятственно заходить на чужие огороды, влезать туда, куда раньше путь был заказан. Прошёл по покинутому селу и дед Илья, очень недоволен остался.

— Разве это дело? — сердито вопрошал он, и незнакомые своей пустотой дома съёживались боязливо и стыдливо.

Дошёл он и до реки, присел на берегу. Сейчас, перед закатом, Обь была тихая и гладкая — ну зеркало и зеркало! Гляделись в него высоченные осокори, вековой кедр, и облака лёгонькие гляделись, и зардевшееся солнышко... Пока любовался отражениями, всё вспоминал, как впервые познакомился с Евдокией Матвеевной. Много-много лет назад влетела

в сельсовет молоденькая докторша, присланная из Томска, и принялась посреди собрания кричать на председателя — дескать, почему это у вас на лесосплаве работают люди с тяжелейшими фронтовыми ранениями? Она ещё платок снять не успела, а смущённый Илья, который как раз и был тем самым фронтовиком с тяжёлыми ранениями, сразу, по голосу понял — белобрысая. И ведь сколько раз он обещал себе не влюбляться — а тут пропал! Но терпел. Хоть он, может, и не таким терпеливым был, как нынче Гринька Колобоков, но держался. До тех пор, пока Евдокия Матвеевна несколько лет спустя сама вдруг не обратила на него внимание. И пришлось тогда Илье надолго покидать ставшее родным село, чтобы улеглось-успокоилось, чтобы не дошло до свадьбы... А когда вернулся — у Евдокии Матвеевны дети уже в школу пошли.

Теперь старику думалось — может, зря сбежал от любви-то? Кабы знал тогда про то, что Монарх такой появится — может, и не сбежал бы. Ведь совсем ещё неизвестно, кто кого одолеет, и, может статься, та любовь последней была бы и осталась...

Вернувшись, дед Илья достал из сундука фронтовую гимнастёрку, повертел в руках. Ветхая, вот-вот по швам разойдётся — но всё-таки форма, единственная оставшаяся из всех тех, в которых довелось ему повоевать на своём веку. Положил на лавку, чтобы утром впотьмах сподручнее искать было. Сдунул пыль с настольного зеркальца, подсел к нему с ножницами и обрезал «баярскую» бороду до «боевых» размеров — чтобы не мешалась завтра. Осмотрел себя придирчиво, подровнял с боков — красавец мужчина! И совсем ещё не старый, кто бы что ни говорил! Евдокия Матвеевна осталась бы довольна... Незаметно подкравшийся Полкан одобрительно закококал.

— Ишь ты! — возмущился дед Илья. — Енто ты тут, что ли, почевать навострился? А ну-ка, давай отседова! — Петух с интересом разглядывал зеркало и покидать помещение отказывался. — Слышь, Полкан, я тваво помёта в избе не потерплю! Шарахаться за тобою по горнице мне не с руки, а вот кнут ремённой у меня возле двери висит, он длинный: поперёк спины тебе перетяну — лепёшкой станешь. Сам понимаешь — и тебе удовольствия мало, и мне, обратно, уборка. Так что думай.

Петух подумал и, видимо, решил, что уж ночь-то он как-нибудь потерпит. Взгромоздился на спинку стула в углу, нахохлился, приготовился спать. Укоризненно покачав головой, дед Илья выключил свет и, кряхтя, полез на полати. Устроившись, поспел, пощупал остриженную бороду, снова завозился, слезая. Щёлкнул выключателем, подошёл к раме, отделил фотокарточку Захара. Подумал — и отделил ещё одну, на которой улыбалась молоденькая белобрысая докторша. Оба снимка аккуратно положил в нагрудный карман гимнастёрки, застегнул потускневшую пуговку.

Вернулся на печку, укрылся стёганым одеялом, сказал в тёмный потолок:

— Ты, Полкан, наверно, тоже думаешь, что я тут помирать остался. Ну, как там завтра сложится — енто пока непонятно. Но хочу довести до тваво сведения, что я тут остался *жить*. Вот так и учти себе.

* * *

Дед Илья глянул на наручные часы и полез с печки.

— Кибернетический ты петух, Полкан! — похвалил он орущую птицу. — Именно тогда закукарекал, когда просыпаться надобно. Не лопни от натуги — встал я уже, встал!

Погремев в сенях умывальником, старик надраил пуговицы гимнастёрки, до блеска начистил сапоги, подпоясался ремнём, причесался. Осталось слазить в погреб за льдом для пулемётного кожуха. Как сохранить лёд на горке, если вдруг Монарх на рассвете не пойдёт в атаку, дед Илья не знал, а потому решил сразу не колоть на кусочки помельче и взять побольше, ведра два — может, тогда не весь успеет растаять.

В последний раз оглянувшись на село, старик шагнул на тропку — и едва не споткнулся.

— Обратно ты! — осерчал он. — Куды намылился? Ступай в дом! Я тебе там ларь с зерном открытым оставил — до весны хватит, ежели что! Ступай, тебе говорят!

Полкан наматывал круги, скакал по тропинке, ловко уворачиваясь от сапог и вёдер, которыми старик пытался отогнать непонятливую птицу.

— Не позорь ты меня! — взмолился дед Илья. — Ну, будь ты и впрямь собакой или, там, конём верным — я бы обязательно тебя с собою взял! А так — ну представь: там космический Монарх прёт дурниной, с лазерами и прочим атомом, а тут я на битву выхожу с петухом — здра-ааасьте! Стыдоба!

Петух, склонив голову и свесив гребень, задумался, но с тропинки не сошёл.

— Холера тебя задери! — в отчаянии вскричал старик. — Чичас же светать начнёт, а я ишшо внизу торчу, с домашней птицей спорю! Тьфу на тебя, флюгер недоделанный, суп несваренный!

Попыхтев сердито, дед Илья успокоился, усмехнулся в усы:

— Ишь ты, что деется! Ну, тады так: поскольку скорости у нас несогласованные — тебе раньше идти, а я уж после, погода, а на вершине как раз и встретимся. Ясна задача? Начинай бежать.

И Полкан, будто и впрямь поняв, припустил вверх по тропке.

* * *

Когда дед Илья часть льда накрошил в кожух, а часть оставил в теньке под елями, за спиною уже вовсю грохотало. Оглядываться старик не спешил — он по-прежнему всматривался в туманную дымку на северо-западе, по-прежнему молитвенно причитал:

— Отзовись! Откликнись, пора уже!

Не было ответа с той стороны.

Трещали внизу, за спиною, стволы, лязгал-скрежетал металл, подрагивала земля, и в ужасе тряслись лапы окружающих полянку елей. Ста-

рик знал, что сейчас, обернувшись, может увидеть Монарха — но пока не был готов посмотреть тому в лицо.

— Откликнись! — стонал Илья, но не было отклика.

Метался возле ног Полкан, масляно сверкал на солнце пулемёт «Максим», и, похоже, не оставалось у старика другого выхода, кроме как устроить супостату «сплошную глобальную катастрофу» длинной очередью из смертоубийственной «машинки» — как, бывало, в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Отечественную...

Громоздкое и злое ухало и скрежетало уже совсем рядом, и медлить стало нельзя. Только раз глянул в сторону Монарха дед Илья — и сердце сжалось, подскочило к самому горлу, затрепыхалось: шёл по тайге многолапый железный паук, шёл вниз, под Иваевской горкой, но росту был такого, что казался выше старика, выше самой высокой ели, растущей на вершине. Левее из-за горизонта выползал второй, правее — третий...

— Ты лучше откликнись! — разозлившись, с угрозой крикнул старик за реку. — Это сколько же лишних лет я небо коптил, ожидаючи?! И что? И зачем?

Будто поняв важность момента, завопил Полкан, закукарекал во всё петушиное горло — туда, туда, за реку, за тайгу...

Невесело усмехнувшись, дед Илья покачал головой.

— Ну что, петушок — золотой гребешок? Игнорируют нас? Не горкой, сами как-нибудь управимся.

Старик лёг на живот, поплевал на ладони, звякнул прицельной скобой, взялся за ручки, повернул ствол «машинки» — и вдруг наконец почувствовал, как первая, тоненькая и слабая струйка коснулась его распростёртого тела, вошла в грудь...

Найдя путь, ринулись к нему соки земли русской, наливая силой щедро, до отказа, как в былые времена. Не видел Илья, да и не мог видеть, но твёрдо знал, что где-то точно так же сию минуту распрямляется спина Микулы, возвращается зоркость глаз Алёши, расправляются плечи Добрыни...

И началась потеха.

Марина ОЗЕРОВА



**«НЕ ЗОВИ МЕНЯ
ДО СРОКА...»**

Марина Александровна Озерова родилась в Москве 9 июня 1958 г.

Член Союза писателей России, профессиональный журналист.

Участник «Антологии XXI века. Отчее слово».

Автор книг: «Голос тишины», «Высокое небо», романа «Подсудимые призраки».

В творчестве исповедует минимализм, уделяя внимание глубине изложения.

* * *

Тишина лишает сна.
Ночь, оставь меня в покое!
В небе полная луна, —
нас когда-то было двое.

Время выткано виной,
память — бойкая сорока.
Знаю, встретимся с тобой:
не зови меня до срока.

Охота в октябре

Менялся воздух,
и листва вдогон
на охристый разбилась
и на мгlistый.
Земной жестокий гон
охоты близкой
звенел неистово — легко.
Немыслимо давно,
среди небывших
охрипший голос слышался отца —
Сквозь шелест
улетевших листьев.

Кот

День не прошёл понапрасну.
Долго вдвоём мы глядели,
как совершают паденья
листья, под ветром скользя.
Кот был мудрее и зорче:
прятал осеннее солнце
в палево-белую шубу,
уши по-рысьи востря.
Если кузнечик фальшивил,
кот делал вид, что не слышал.
Бабочки стайкой кружились,

мирно садились на дом.
Кот обо всём осторожно,
вкрадчиво-нежно мурлыкал.
Только чужая сорока
оборвала наш покой.

Оплавленный вечер

Сгоревшей ракетой
оплавился вечер.
Застыла обида
от стольких пощёчин.

Сводить злые счёты
пока ещё не с кем.
Лишь улица стала,
как лобная площадь.
Беспочвенно лгать
земля под ногами
не тает...

Покорно шагают деревья —
шеренги аллей
прощаются с нами,
раздавлены болью
последних мгновений.

* * *

Где волны бьют у мола...
Зажму тоску в горсти.
Жизнь грубого помола.
Прости меня, прости!

Ты говорил, разлука
не будет нам горька.
Минует сердце мука —
останется мука́.

Посвящение раскулаченным крестьянам

Как в горнице пусто:
нетоплена печь,
молчанье до хруста.
Теперь вражды дни

под гору как горько.
Остались одни:
гармонь да махорка.
Что мы без земли!
Ни хлеба, ни лада
Метель намели.
из белого сада.
Нам голод с тобой —
к погосту дорога.
Рыдай или вой —
немые без Бога.

* * *

Темней души ростовщика
и сундуков его бездонней
любовь ночного мотылька.
Любого нищего бездомней.

Печальней августовских ив,
в реке покорно отражённых.
Твой взгляд — навязчивый мотив,
симфония надежд сожжённых.

«Белая гвардия»

Посвящается М.А. Булгакову

Безмолвен Владимир с крестом.
Россия, измена, расплата!
Днепр висельным длится шнуром,
Ком глиняный режет лопата.

Ночь... мимо станций — пурга,
Ветер безумствует в поле.
В бессмысленном танце сама —
царствует смерть на Подоле.

Времени подлая трель:
Что? Вы хотели?! Крамола!
Лжи не смолкает свирель.
Ну торжествуй, карманьола!

* * *
Ждать всю жизнь и не дожидаться встречи.
И остаться ночью одному...

С. Есенин

Остатки мартовских снегов
ушли на слёзы.
Весна — обилие гробов:
хоронят грёзы.
Искать в сиреневом дыму
пустых сражений...
Герасим утопил Муму,
конечно, гений.
Тургенев, не Герасим, нет.
Он раб, не боле.
А впрочем, помните сюжет —
рыдает в поле!
Сбежала тёплая слеза на покрывало.
Луна глядит во все глаза,
она устала.
Уйдём покорно в темноту
бессильны речи.
Я выбираю немоту —
не надо Встречи.

* * *
Пока ещё в своём уме,
сожги минувшее. Тетради
листают, право, скуки ради.
Как рассказать про скорбь тебе?
Зачем ты рухнула, зима?
И я бежавшая из плена
осталась, как была одна.
Надежда — это только пена
тоски, поднявшейся со дна.

Надо

Надо успокоить нервы.
Надо чем-то заниматься.
Надо как-то одеваться.
Надо что-то есть и пить.
Но слова как будто паста,
отвратительны и грубы.

Не хотят открыться губы,
чтобы их произносить.
Каждый день как чудо — утро
появляется в квартире.
И бегут часы пугливо.
Надо снова встать и быть.
Как испорченной машине,
мне давно пора на свалку.
Только это очень лично
и мне не с кем обсудить.

* * *
Забудь тебя: лицо, слова
и улицу, что вниз текла
в водовороте дел.
Неровность плит, окна проём.
Опять глаза, и мы вдвоём —
ты этого хотел?
Огонь и невозможно плыть,
как невозможно дальше жить
в беспечности былой.
Молчи, молчи! Слова мертвы.
Звучит мелодия вины:
не быть, не быть, не быть.

Историческое

Вечер зимний синим ромбом
Отдаёт прикладом в спинах.
Ненависть по гардеробам
прячет морду в нафталинах.

Там, давно давясь от скуки,
спит усталый, старый китель.
Все парадные докуки
знает доблестный «воитель».

Сталин — сокол и отрада.
Лишь бы разглядел с трибуны.
И душа-чертовка рада...
Неподсуден? ... Хрип Иуды.

Вчерашнее сердце

Вчера барханы облаков
спалили музыку души.
Не стало больше сладких снов
и благодатной тишины.
Мне неприятны все слова.
Они дурной имеют смысл,
и спрятаться за них нельзя,
чтоб сердце не разбилось вдрызг.
А впрочем, сердце лишь предмет
одушевлённый. Пусть живой,
похожий на хрустальный мяч.
Раз-два, и он на мостовой.

* * *

Не тронь! Ведь прошлое стекло.
Пускай застынет взгляд твой синий.
Как время медленно текло.
Ты — всемогущий, стал — бессилен.

А флоксы сыпались на пол.
От лепестков он стал узорным.
Нас разделял всего лишь стол.
Но я не смела стать покорной.

Весенняя душа

Пикировало солнце.
Осыпался хрусталь.
Жизнь допита до донца.
И ничего не жаль!

А что весна? Она душна!
Такое дело...
Когда усталая душа
не хочет больше тела.

Ночные лабиринты

В постели ни на йоту сна.
Бегу впотьмах от одеяла.
Легла и медленно увяла
заброшенным пространством тьма.

Сверкают прошлого огни.
Им просто так светить нелепо.
Зовут как будто с того света
несостоявшиеся дни.

Бегут картинки, зло рябя.
Мелькают лица без разбора.
С опаской опытного вора
хоронит прошлое себя.

Под утро

Затем мне явились под утро
усталые сны.
В них ржавые крыши давили
скелеты домов.
И плыли куда-то горящие горем
огни,
почти не терзая собой облаков.
Забывшись от ужаса, небо глядело
в окно.
Наверно, так будет в придуманном
кем-то аду.
И только деревья, сплетаясь в одно
существо,
стонали одни в похороненном
ночью саду.

Не по пути

Мы с тобой похожи —
нам не по пути.
Дальше поцелуев
некуда идти.

Все слова, что знала —
сказаны давно.
За окном не утро,
за окном темно.

* * *

Не оставляй меня одну.
Одной что делать в этом мире?!
Уже, пронзая тишину,
часы кремлёвские пробили.

И, поднимая в сердце муть,
зло мчатся мысли вереницей.
Не изменяй меня, лишь — будь!
Блесни на солнце колесницей.

* * *

Я не смею просить за тебя.
Ты давно далеко и чужой.
Солнце трогает ветви, слепя.
Предпасхальный, апрельский покой.

Боль, с которой январь повенчал,
заструится весенней листвою.
Тихо встретится наша печаль,
все у Господа под рукой.

Памяти Александра Грина

Бродить болотами без сна.
Моря шумят без капитана.
Одна печаль тебе верна,
с ней не достигнуть Зурбагана.

Судьба играет «чёт — нечёт»,
шелмует, что лиса Алиса.
Она всё знает наперёд:
не будет радостного Лисса.

Но юность радостью свежа.
Надежда — золотая роза.
Волны зелёная межа. ...
И медленно струится проза.

* * *

Я смотрю в окно — зима.
Так, наверно, где-то надо,
чтобы белая ограда
охраняла муку дня.
Белым саваном дома.
Снег с землёй играет в прятки.
Знаю, решены загадки.
Но опять мне не до сна.
Белым саваном дома,
и какие-то лошадки
цокают мне до утра.

* * *

Виновата. Время — вата
неба рваных облаков.
Не пугайся, зреет точка,
под покровом бьётся строчка
чьих-то завтрашних стихов.
Не печалься, что по следу
не бегу. Навстречу бреду
лучше выйти одному.
И пылает словно свечка
болью лет иных сердечко,
зная, что забвенья нет.

**Валерий ЯСОВ,
Марина ОЗЕРОВА**



ПОСТАНОВКА
Роман

106

Валерий Ясов (Валерий Николаевич Бальцев) родился в Москве 14 февраля 1962 г.

В 1983 г. окончил театрально-художественное училище.

С 1998 г. член Международной Федерации Союза художников России. Работает в акварельной и графической технике. Фэнтези — наиболее близкий для него стиль. Им проиллюстрированы поэтические и фантастические книги современных авторов. Чёрно-белая графика (тушь, кисть, перо). Постоянный участник московских и зарубежных выставок. Работы находятся в частных коллекциях России, США, Израиля и Германии.

Траектория Творчества. № 1(21) 2014

Прости меня! Не хотела!
Вопль испорченного нутра!
Так смертники ждут расстрела
В четвёртом часу утра.
За шахматами... Усмешкой
Дразня коридорный глаз.
Ведь шахматные же пешки!
И кто-то играет в нас.

М. Цветаева «Поэма конца»

Глава 1

— *У*то ты смотришь на меня как прокурор на подзащитного? — спросил я у фонаря, надрывно слепящего окрест. Естественно, он не ответил, продолжая голосить в световом диапазоне. Никому нет дела. Снег сверкал под рекламными лучами, слой за слоем застилая поверхность мостовой. «Так, вроде, правильно двигаем».

Улица не могла выбрать. Правая сторона, заштрихованная ночью, задрапированная неизвестностью, поблёскивала иногда оконным окном, фонарём, забывшим умереть. Левая принимала сочившийся из проулка огонь рекламы, усиленно реагировала на горящие буквы и джигу прыгающих ламп.

Долго раздумывал, по какой кромке двинуть? Манила мгла и неузнаваемость справа. В то же время удивляла изломом углов, смелостью рельефа противоположная сторона. Шёл синусоидой, то окуная плечи в глухую статику морозной ночи, то кидая тень в танцующие сполохи на новом снегу. Следов было мало. Проплыл враскачку дядька с собакой, молодой человек промельтешил, срезая модными ботинками снежную стружку. Женщина с ребёнком уверенно (странно — в такое позднее время) нырнула в арку. Каждый

из них оставил свои признаки и загадки на свежей картинке, только что нарисованной снегопадом. Вмятины темнели, редкие, пересекающиеся. Я не стал думать о чужих, ненужных людях.

Достал листок с адресом, расправил. «Да, верным путём... Один вопрос только: «Зачем в час ночи бреду, шарахаясь из темноты, наступая на блеск? Деньги, да чтоб их... а чтоб тебя! Естественно, должен, конечно, отдать не могу». Вечером газетой от печали закрывался, рыскал по столбцам и абзацам. Нарвался — «беспроцентный кредит, возможность выигрыша, с дальнейшим аннулированием долга».

«Бред милицейский. Играют в игры дурные тигры. Да, делишки под откос. Тут сам глядишь, разыграешься до оваций». Позвонил, отозвались быстро. Адрес отчеканили, — здесь и началось.

— Вы не могли бы прийти полвторого ночи?

— Ночи? — повторил бестолково.

Машинально взглянул в окно — тьма, семнадцать ноль — ноль, декабрь.

— Да вы не волнуйтесь. У нас шеф из-за границы прибывает. Разница во времени, понимаете?

Я ничего не понимал, но гукнул раненым филином. Уж не помню, что плела девушка из телефонной трубки, согласился. Идиот, по делу ничего не выяснил толком. Какие там кредиты посреди ночи? За стёклами горизонт завалили чёрные глыбы...

Дома жались к электрическим щедротам. Страшно не было. Караулила злость. Кусал губы, смахивал наглые снежинки, налипшие на куртку.

Покружил по дворам, там мёрзли машины, оставшиеся деревья одиноко висали на краю неба-пропасти. Нашёл наконец заветную дверь. Фирма-ширма, вывеска-табличка. Звонка не было, ручки тоже. Судорожно искал, за что дёрнуть, куда нажать. Наверное, от отчаянья, захмелев от бессонницы, забарабанил по холодному металлу, сначала тихо, потом громко, ругаясь про себя и вслух.

— Ну что долбишь? — раздался грубый голос. Он шёл откуда-то сверху.

Оторопело вращая головой, старался разглядеть источник звука. Высоким тенором, почти как Ленский, пропел:

— Я по объявлению насчёт займа! Это фирма...?

— Проходи, юный барабанщик, сейчас открою, — донеслось свыше.

Совершенно обалдевший, шагнул в светлый прямоугольник за открянутой беззвучно дверью. «Фамилию спросили, назвал бы не сразу».

— Вперёд, комната номер три, — направил невидимый страж.

Длинный рукав коридора тянулся довольно долго. Моргая, платком вытирал остатки метели. Прошло секунд тридцать, прежде чем ясность добавила впечатлений. Не менее пятидесяти метров отмерил. Попадались двери, за ними ни гу-гу. Белёлая офисная отделка постепенно сменялась деревянными панелями. Неожиданно послышалась музыка.

«Ничего себе, только Моцарта не хватало!» Слева мелькнуло число. «Ага, номер три». Обрадовался. Из-за дверцы с тройкой, нарисованной розовым мелом, неслась музыка. Постучал.

— Войдите!

— Можно? — запоздало спросил на пороге.

— Можно, — произнесла девушка, она сидела за столом с компьютером и прочей техникой. — Присаживайтесь.

Повернувшись ко мне, красавица щёлкнула какой-то клавишей, музыка стихла.

— Ну?

На меня смотрели голубые глаза, одолженные в Голливуде.

— По объявлению я, насчёт займа. Вот газета, — помахал перед её личиком листком с рекламой.

— Понятно, вы кто?

— Я, ... в каком смысле?

— Профессия, образование, работа...

— Ну, артист, ГИТИС... — тут я запнулся.

Работал последнее время сторожем-охранником.

— Документы с собой? — продолжала пытаться прекрасная секретарша (или кто?).

Вынул из внутреннего кармана диплом, паспорт, справку с места работы.

— Да, получаете негусто, — резюмировала мисс. — Какая сумма вам нужна?

Старая грусть, покинувшая вроде во время поиска, опять привычно навалилась на плечи, влезла за пазуху.

— Семь тысяч долларов, — пробормотал, с трудом шевеля замороженным языком.

Произросла тишина. Минуту принцесса что-то писала, тренькала на компьютере, листая мои документы. И тут вспомнил: кукла! Она была безумно похожа на игрушку, которую я подарил племяннице месяц назад.

— Какую?

— Эту! — Ребёнок ткнул пальцем в заграничный эталон чувственности.

«Вылитая! Что за хрень? Бред, даже платье того же фасона и цвета. Нарочно что ли?» Наклонился, пытаюсь увидеть её туфли. Не удалось. Пришлось бы сложиться вдвое. Она не обращала внимания на мои расклевывания, изучая экран.

— Так! Наша фирма вкладывает деньги во многие проекты. В шоу-бизнес тоже.

Хотел задать вопрос — не приняла. Сухим движением жёстко поставила ладонь перед моим носом. Понял, надо слушать.

— Вижу, по специальности вы давно не трудились. Предлагаю составить договор. Мы вам деньги, а вы поучаствуете в одном из наших проектов. Профессию вспомните. И если всё пойдёт хорошо, отработаете сумму и свободны. Сроки оговорим. Теперь спрашивайте.

Твёрдая ладошка легла на стол.

Соображал я туго, тянул вслух какие-то гласные.

— А... э общее время занятости? Проценты по кредиту?

— Не со мной. Я вас направлю к менеджеру, обсудите. Согласны?

Её глаза, запомнившиеся по магазинной полке без какого-либо напряжения, отражали галогенные лампы потолка. Земля сгинет, а прекрасные очи также будут открыты во тьме без волнений и страхов.

— Да, — сделал утвердительный жест рукой.

— Отлично, сейчас выйдете и налево, тринадцатая комната. Я позволю, вас примут.

Почему-то улыбаясь и кивая, вышел в знакомый коридорчик. Где-то за стеной цвёл разговор, смеялась невидимая барышня. Надтреснуто, азартно.

«Сначала два часа ночи, потом кукольная девица-лоцман. Однако я дурее буду. У них вон камеры скрытые везде, аппаратура (вспомнил поиск ручки у входа). Офис в километр...» Отделка стен присягала разнообразию. В каком-то закутке промелькнули арабески и раскрашенная лепнина. Лампы и бра, грешившие ампиром, порой срывались в барокко, наполняя пространство радужными переливами. На втором повороте едва не столкнулся с невысоким человеком. Он семенил куда-то, сосредоточенно глядя себе под ноги.

— Извините, где комната номер тринадцать? Я, видимо, не там повернул...

Он остановился как вкопанный, резанул острыми чёрными глазками и внезапно закрычал:

— Да что вы, в самом деле! Сейчас всё решается...

Странный человечек схватил меня за локоть и продолжал в том же духе:

— Не останавливайтесь! Всякое замедление похоже на смерть. Потом ничего не исправись...

Он лихорадочно осмотрелся, точно боялся, что его услышат. Последние слова он прохрипел еле слышно:

— К сожалению, стены хороши только на ощупь. Когда они исчезают, бездна заказывает музыку. Спешите! Поцелуй темноты ядовит, но приятен.

Резко развернувшись, он рванул от меня, проигнорировав вопрос.

Какое-то время раздавались за поворотом торопливые шаги. Протяжно взывала дверь, хлопок. Навалилась тишина. «Какой странный субъект!» Ощутил себя потерянным в нескончаемых коридорах, по которым бегают трагики-недомерки, а эстетические пристрастия дизайнера отдают нездоровой эклектикой.

Покосился на часы, стрелки замерли на двенадцати. Вот напасть, только сбоя не хватало! Вынул мобильник. Он оказался разряжен. Ни времени, ни связи, только бесконечные повороты. Захотелось вернуться на улицу, ситуация пахла абсурдом. Появилось внутреннее напряжение с привкусом пустоты. Совершенно не мог сориентироваться: где выход? Как-то не по-хорошему знобило. И даже свет казался неприятно-пугающим. Его лучи то ослепляли, то рисовали дрожащие разводы на равнодушных стенах.

Мой коридорчик закончился развилкой. Её предварял широкий тамбур с местом для курения. На банкеточке разместились двое. Они о чём-то возбуждённо переговаривались, но тотчас же затихли при моём появлении. Что-то насторожило в их внешнем облике. Через долю секунды

понял: у одного под пиджаком ничего не было, на волосатой груди болтался какой-то медальон.

У его приятеля на ногах красовались горные ботинки. Клоуны какие-то.

— Где комната номер тринадцать? — глухо спросил я без всяких предварительных извинений.

Мой голос неожиданно отдался гулким эхом и, кажется, устремился во всех направлениях.

— Тринадцатая? — переспросил один из курильщиков, он с наслаждением затаился и искусно выпустил в потолок пару ровных колец. — Вам сюда, — показал он большим пальцем через левое плечо. — Покурить не желаете? Наш шеф сигары привёз, угощает, — ручная скрутка. Представляете себе, — сидит яркая кубинская тётка типа Кармен и на бедре, умело и ловко катает, значит...

— Не курю.

Мне успела надоеть здешняя атмосфера. Пришёл по делу, налетаю на каких-то придурков. Комнату тринадцать чуть не проскочил. Хотел постучать, — опередил радушный голос:

— Заходите. Ждём, звонили уже!

Толкнул дверь, вошёл. Из глубины пространства навстречу двинулся высокий мужчина. Он несколько театрально выбросил руку, я протянул в ответ.

— Прекрасно, замечательно! — пристально разглядывая меня, прогрохотал хозяин кабинета.

Рукопожатие затянулось. Наконец он выпустил мою пятерню, пошевелил пальцами, словно делая массаж, блеснул массивным перстнем.

«Он специально разминает кисть, чтобы колечко прыснуло...» — пронеслось в голове.

— Эх, да я и сам артист!

Он почти декламировал, поднимая брови, играя баритоном...

— Ещё сценарист, драматург. Столько было всего! — менеджер вздохнул и фамильярно коснулся моего плеча, с удовольствием наблюдая, как искрит прозрачный камень на безымянном пальце. Заметил это по движению тёмных его глаз.

В следующую секунду, вздохнув печально, он произнёс:

— Теперь о деле, друг мой, о деле, — сочувственно, с мимикой благородства:

— Знаем о ваших затруднениях! — И уже радостно, едва ли не подмигивая:

— Поможем! Непременно поможем — в гроб положим! Ха-ха-ха! — Шучу, шучу, — как бы успокаивая, закончил он, проникновенным тембром.

«Неплохой артист, правда, слишком нажимает на внешний эффект. Похоже, не играл давно, а хочется, ситуацию использует как сцену».

Мысли кружились вяло, усталость брала своё, надо было держаться.

«Нормальный дурдом, всё знакомо до спазм. Было ли что иное?»

— Вот договорок прочтите, — вернул в действительность жизнерадостный голос.

Машинально взял два листа, скреплённых по краю. Суть понял сразу, но долго плавал в деталях. Не привык ночью читать документы.

«Полгода я у них в театральном проекте. Деньги сразу. Неужели?!» Сердце стиснуло предчувствие развязки. Весело и томно.

— А вам подобное выгодно? — выдавил из себя, проглотив текст.

— Было б не выгодно, в дверь не вошли, — вальяжно протянул визави.

Неожиданно, якобы вспомнив о чём-то, он встал, застегнул бархатный пиджак тёмно-винового цвета.

— Разрешите представиться — Гамлет Сергеевич Луняев. Ну, вас я знаю, как зовут. Не волнуйтесь, прочитал только что. Денежки два раза в месяц. Работа два дня в неделю. Годик и наше почтение. ...Режиссёр там доложу! О, явление. ...Не человек!

Гамлет вскинул рукава шикарного пиджака.

— Ему не то что спасибо — поклонитесь. Уверяю! Не сомневайтесь: такая дорога да к вашим ботинкам! Есть ещё вопросы или подпишем?

Я молча поставил подпись, он — именную печать.

— Значит так, молодой человек, я сейчас санкцию начальства прищандорю и в бухгалтерию зайду, — хитровато улыбнулся Гамлет. — Как договорились — целенькую сумму. Приду, чиркну адресок студии. Посидите здесь минут несколько. Можете курить, — жестом указав на кресло рядом с необъятным столом, придвинул пепельницу в виде черепа.

— Правильно, голос, — закивал, как бы одобряя мой отказ.

— Голос, — повторил он, дотронувшись до собственного горла.

Когда хозяин исчез, я не услышал удаляющихся шагов, может, не до того было. Оставшись один, удивлённо разглядывал кабинет, куда принесло меня ночным течением. Штофные пурпурного цвета обои с необычными белыми цветами, подобранные со вкусом и чувством, чередовались с панелями красного дерева. Окна, закрытые тяжёлыми складками портьер, казались неприступными. Письменный стол на могучих львиных лапах тонул в полумраке, но книжный шкаф с какой-то явной поспешностью, прикидываясь долго молчащим человеком, выбалтывал тайну владельца. Шекспир, Эдгар По, Борхес обрушились на меня со всей силой присущей им страсти. Напротив шкафа притаилось зеркало. Я заглянул в него и увидел бездну, мерцающую огоньками светильников, ниспадающим узором штор, таинственностью старинных гравюр. Живой воздух смутно колыхался за моей спиной, пульсируя сдержанным светом. Не то что в кукольной комнате (лампы наотмашь, серый стол). Куцый квадрат эфира под стать деловой девушке из игрушечного магазина. Немного успокоившись и обвыкнув, опустился в лёгкое чёрное кресло. Плавно скользя вокруг оси, ни о чём не думал, осмелел, наверно. С любопытством разглядывал неожиданный мир.

«Вроде всё нормально. Секретарша под Барби, сумасшедший коротышка, развязные курильщики и неожиданно серьёзный артист — менеджер по бизнесу. Контора крутая. Одна мебель тыщ на ...дцать. Антиквариат.

Вот только что за окном?» Прикидывая свой маршрут, не понимал, что снаружи. «Дом, кажется, обычный, а тут зигзаги и коридоры — целый квартал». Наконец решился встать и отдернуть занавесь... За спиной распахнулась дверь. Внезапно, неслышно, просто у бумаг на столе задралась углы от резкого сквозняка.

— Вы тут без меня не скучали? Смотрели. Думали. Изучали... Еле вырвался. Уф, начальство!

Он медленно направился к столу и грузно опустился на своё место.

— Ну что ж, скажу вам как артист артисту, — произнёс он, передвигаясь поближе на своём кожаном троне. — Повезло вам! — Он эффектно, козырным тузом бросил перед собой объёмистый конверт. Затем откинулся и закрыл глаза, странно, казалось, он действительно сильно устал. — Пока всё согласуешь... — качая головой и вздыхая. — Считайте денежки, считайте...

Купюры заплясали, глаза округлились от переизбытка президентов. На мою вопросительную гримасу Гамлет Сергеевич спокойно пояснил:

— Каков проект — такова и такса. Роли знаете разные. Затраты душевные, силы физические. Никаких поблажек — работа и цена. Адрес и телефон в конверте, зелёнькая бумажка. Дни я согласовал под ваш график и прошу вас... — Он оторвался от спинки кресла, прижал ладонь к сердцу, взгляд участливый (наконец-то отметил я — отдохнул). — Не подведите меня, со всем энтузиазмом беритесь. Теперь вопросы, после провожу до выхода.

Много чего громоздилось от свежих впечатлений в туманной голове. Однако на язык только одно выпрыгнуло.

— Вы не обижайтесь, — для меня несколько неожиданно... отчего вы ночью работаете? И я тут встретил одного...

Собеседник, перебив меня досадливым жестом, покровительственно улыбнулся.

— Бизнес при поддержке луны, что странного? День, ночь — мы всегда служим. Я предпочитаю после заката. Ничего не отвлекает. Про людей ничего хорошего не скажу. Попадают порой разные экземпляры. Шутники доморощенные... Что вам до них?! Вы своё считайте!

Он вдруг поднялся, напрягая плечи на подлокотниках, и, заложив в боковой карман левую ладонь, правой обвёл панораму своих владений. Его кисть плавно прошла вдоль гардинных границ и застыла в сумраке, снова сверкнув перстнем.

— Ночь — продолжение искусства.
В ней привкус мглы и искус чувства.
Она приют для одиночеств.
Без сна имён и почвы отчеств.
Что толку шарить в полумраке,
в лохмотьях иль в богатом фраке?
Вновь породит одно движенье
резных теней изображенье.

— Вот так мне кажется, — закончил странную декламацию Гамлет, — не знаю, убедил ли?

Я молчал, он отщёлкал, словно в кино его снимали, дубль шестнадцатый. Естественно, без лишней спешки, подчиняясь внутреннему ритму завораживающих строк, не подыгрывая глубокому голосу. В коридоре, сообразив, что идём не в ту сторону, спросил:

— Вошёл я там?

— Выйдете здесь, так удобнее всем.

Вне кабинета Гамлет сделался лаконичным, эмоции рухнули к нулевой отметке. Через двадцать метров мы попали в некий зальчик, довольно уютный.

Посреди него ворковал небольшой фонтан, возвышающийся над прозрачным водоёмом. Струи, разбиваясь на капли, падали в широкую чашу. Вокруг трепетали экзотические растения. Не хватало только птиц и бабочек. Я облегчённо вздохнул. На меня повеяло спокойствием.

— Прекрасное место для отдохновения. Здесь помечтайте чуть-чуть. Я должен договориться насчёт выхода. У нас строго. Располагайтесь. Хотите на скамеечке?.. — Гамлет весело заглянул мне в лицо.

Я покорно уселся, мутные мысли постепенно испарились. Наблюдая за водяными бликами, танцующими под потолком, ощутил счастливое возбуждение, будто стоял на пороге светлых событий. Пожалуй, впервые за целый день сердце забилося ровно. Потолок удивлял росписью плафона. Дама в шелках, сопровождаемая фантастической толпой людей и животных, в одной руке держала венок, другой — указывала на круговой узор из цветов и плодов. Интересная аллегория, что она символизирует?

Полез в карман, нащупал пачку денег и облегчённо вздохнул. В это самое мгновение свет дернулся и погас. По телу спиральным разрядом прошла электрическая судорога. Вдалеке прорезались быстрые шаги, переходящие в топот, кто-то бежал сюда. Не успел ничего подумать, электричество появилось также внезапно, как и исчезло. В залу вбежал запыхавшийся Гамлет.

— Ну как вам нравится? Нашли время испытывать новую систему безопасности!

Его физиономия раскраснелась, он оглянулся назад и погрозил кулаком кому-то невидимому.

— Шеф вернулся, и тупые шестёрки решили продемонстрировать свою занятость. Не обращайтесь вниманье! Нетерпеливых везде хватает. Придётся в обход.

Мы двинулись в левый коридор. Он расширялся метров через десять. Далее шли анфилады комнат. Я не без удовольствия рассматривал их ампирный полёт: цвет и узор спокойно дополняли друг друга. Никаких дверей, однако, я не заметил. Длинный парадный маршрут без намёка на боковые комнаты. Только в одном месте, ближе к стене, в углу, вниз вела чугунная винтовая лестница.

— Нам сюда, — прервал молчание Гамлет, — держитесь за перила, тут довольно круто.

Он, вздохнув, начал медленно спускаться. Я последовал за ним, испытывая внезапно появившееся головокружение.

«Правильно, мотаешь тут по лабиринтам. Ни тебе кофе с ужином...»

Непонятным образом перила казались тёплыми, местами даже слишком.

«У коммерсантов вечно не как у людей. В помещении — куртка еле спасает, а лестница с подогревом». Спуск затягивался. Закладывая вираж на очередном пролёте, я сбился со счёта. На семидесятой ступеньке прекратил учёт.

— Мы через шахту уходим? — спросил, не выдержав.

Гамлет ничего не произнёс, только хмыкнул. Меня начинало раздражать «Путешествие к центру Земли».

— Ну вот, совсем немного осталось, — примиряюще заметил Гамлет через минуту.

Лестница внезапно закончилась. Перила замерли на гривах двух львов, — фигуры царственных животных вместо привычных витых опор замыкали движение.

— Теперь сюда, — Гамлет отворил небольшую дверь.

В глазах поплыли круги от резкого направленного прожектора.

«На стройке что ли одолжили?!» Я надел кепку, как можно ниже надвинув козырёк.

В Гамлетовском пиджаке заиграло — «Гром победы, раздавайся!»

Провожатый знаком остановил меня и долго слушал кого-то.

Непонятный разговор, односторонний. Театральный менеджер кивал и теребил затылок, вероятно, ему что-то мешало. Выключив мобильник, он молча указал направление следования. Помещение напоминало помойку. Последние сто лет тут точно не разбирались. Один раз сбоку мелькнула надпись на громадном треснутом ящике — «Поставщикъ императорского двора». Наверное, меня съел слон и теперь мы следуем наружу естественным путём.

Долго топали, наконец остановились в широком тупике. Мой спутник спокойно сказал, ни к кому не обращаясь:

— Откройте!

Через секунду, толкнув перед собой железную дверь, полуулыбкой изображая утомлённость, показную или настоящую, почти прошептал:

— Прощайте! Рад был содействовать. Постарайтесь понравиться режиссёру. Послезавтра вас ждут, не опаздывайте!

Последняя реплика прозвучала вдогонку. Я зачем-то утвердительно кивнул. На улице уже рассвело. «Сколько времени прошло? Не менее пятидесяти метров спускались вниз перед выходом. Конечно, под углом, но масштабы впечатляют. Думал, через подземный бункер или дебаркадер на волю выберусь. Товарищ Мёбиус совсем не следит за своей петлёй!»

Брёл по щиколотку в снегу до ближайшего чистого места. Метель накрыла старый тротуар на несколько белоснежных сантиметров. «У подъезда, похоже, месяц не чистили. Запасной выход что ли?» Машинально нащупал деньги во внутреннем кармане. Если б исчезли, не вздрогнул. Да, здесь родимые! Достал одну, полосочка на месте, прочая шершавость. Остановившись, спокойно пересчитал наличность. Оказалось на пятьсот долларов больше. Что за чушь? Суетливо оглянулся, всё-таки на улице стою.

«Разменять бы, коль полтыщи даром прикатали. Может, фальшивые? В хорошее не веришь». Пробираясь дворами на шум городской, оторопело глядел на людей.

— Который сейчас час? — спросил у прохожего.

Он дико зыркнул на меня и умчался прочь. Главное — получилось! Условия не совсем понятные, зато подходящие. Играть, так играть. Не голым же скакать заставят — не тот профиль и вид.

Глава 2

Два года прошло с тех пор, как снимался последний раз. Вспоминаю — дрожь и скука. Любовь у меня была. Вроде на подъёме — сериал недешёвый, роль приличная. Справлялся. Она — героиня, я — герой. Закрываю глаза, вижу лёгкие плечи, слышу голос негромкий, в темноте большой комнаты. Боль и память — всё о любви. Думал, никогда не расстанемся.

Проще получилось и страшней. Глаз на неё инвестор положил. Ну и пошло: сперва речи странные, мол, надо пожить отдельно, отдохнуть друг от друга (я не устал!). Говорят, нельзя презирать женщин за страсть к богатству, — дети у них там, внуки. Ясно — хоть вешайся! И впрямь, зачем ждать? Пока из меня что выйдет, когда рядом на блюде жирный кусок! Замечательно, наверное, дюжину ступеней вверх перепорхнуть невинной птичкой... Я разговоры заводил, упрашивал. Когда глаза открылись, как у ограбленного во мраке, увидел, оцепенел. Постойте, а жар тела, нега полтонов, прикосновения, которым верил? Мираж, мираж, мираж!

Дал спонсору по бритой морде, оттащили. Через пару дней отпинали в собственном подъезде наёмные гориллы. Полежал в больничке, попереживал о чувствах. Потом... перекрыл мне гнусный деятель кислород. Перестали приглашать в кино, из антрепризы вымели. Охраняю нынче казённые помещения и собственную глупость.

Вовремя они с предложением. Возможно, грозит мордобой, если «доброжелатели» узнают. Наплевать, давно хожу с разводным ключом за поясом и не верю в любовь.

Встал сегодня не очень рано. Вчерашние ночные приключения казались скверным сном, если бы не объёмистая пачка долларов, брошенная на письменном столе. Они лежали косой горкой, чужие, — почти все уйдут на уплату долгов и процентов. Как бы потише повернуть операцию «Возвращение»?

Может, стоит устроить конную атаку, застав врасплох заимодавцев, чтобы поганые сороки не успели растрезвонить, что, мол, деньги появились. Начнём с расписочек, — лежат передо мной родимые, начертанные усердно. Обязуюсь, паспортные данные цифры с нулями. Так что отдышайте, зелёные, на столике и не шуршите. По крайней мере, есть надежда, — отныне будет один кредитор.

Вчера утром удостоился приятного предупреждения по телефону:

— Вадим, о чём ты думаешь? У людей склероза нет. Наживёшь на свою голову... Все сроки уже прошли. Либо в течение суток, либо...

Приятным таким голосом, убедительным. Куда деваться побитому романтику? Моя любовь с кредитами оказалась невзаимной.

Главное — события выстроились в ряд расстрельной командой. Сперва умерла мать, не прошло и полгода, отчим срочно женился на провинциальной русалке с крокодильей хваткой. Он в категорической форме потребовал размена, причём себе отмерил львиную долю.

— Вадик, сынок, да я тебе деньгами, не сомневайся, подожди пару месяцев. Всё на мази!

Я — балбес, занятый любовью, работами и благородством, подписал договор долей в его пользу. Через полгода, когда о сумме заикнулся, он вытаращил на меня удивлённые смотрелки и ровным голосом чётко:

— О деньгах не может быть и речи. У меня жена на сносях. Времена меняются, между прочим, ничего не поделаешь... Естественно, могу тебе одолжить займы...

— Но только под расписку и с процентами, — донеслось из соседней комнаты.

— Да, именно так, — закончил дуэт счастливый супруг.

Помню, как он появился у нас впервые в несуразном пальто и старых ботинках. Огляделся с улыбочкой — понравилась ему четырёхкомнатная в центре с высокими потолками. Отец в КБ ведущим конструктором вкальвал. Ещё до моего рождения они с матерью съехались в одну большую квартиру. Мне шестнадцать стукнуло, когда мать снова вышла замуж. Пять лет прошло, как отца не стало. Наверное, трудно ей пришлось. Я не особо обрадовался отчиму, но вслух ничего не говорил. Отчим как отчим, мы всегда оставались чужими.

К моменту нашего диалога я жил в недавно купленной на кредит двухкомнатной квартирке в спальном районе. Естественно, на приличную площадь после глупости с бывшим родственником, не хватило. Когда планета моя закатилась, выплачивать кредит стало невозможно. Соглашайся, висельник, на любые погодные сюрпризы. Продавать кроме старой машины оказалось нечего. Да здравствует метро, там всегда светло!

Звучный свисток чайника объявил о втором тайме. Ещё поиграем, сволочи!

Заворачивая из комнаты на кухню, больно приложился локтем об угол. Два года прошло, а никак не могу привыкнуть к тесноте. Почувствовал — злость подымается во мне пузырьками, как вода в чайнике. Сама перспектива видеть сегодня разнообразных процентчиков, заглядывать в их довольные лица...

Почему я не Раскольников?! Как надоели гуттаперчевые улыбки, клешнеобразные рычаги!

Чай привычно успокоил. В конце концов, вместо своры теперь будет один следящий хищник. Неплохо бы со сторожевой вахтой закончить. Больно место неприятное. Просторный двор с дорожками машинами. По периметру арендаторы, меняются часто, претензий вагон. Меня от улицы отделяют железные ворота, под которые ночью подлезть не составляет труда сухопарому налётчику. Даже тревожной кнопки нет в случае чего.

Доведись грабёж или угон, голова слетит по любому. Стоимость машин не для всякого математика — считать забодаешься! Так что кто быстрее — грабители или автолюбители. Вообще местечко сюрное. На вертушке ВОХР с кокардой не просыхает сутками. Начальство экономит. Во время ночных обходов на меня поучительно смотрят статуи вождей, выплывая из темноты могучими лысынами и мощными плечами. Бывший художкомбинат, ныне караван-сарай. Не знаешь, на кого наткнёшься. По прежним мастерским ютятся гости из ближних стран, наступая на пятки призракам советской эпохи. Единственное, что поддерживает меня там — местный кот и стая голубей. Для них берегу хорошие словечки и угощения.

После завтрака в голове родился план. Для разбега к отчиму, затем в контору финансовую, после по мелочам. Здравствуйте, мои дорогие, чтоб без вас делал?! Как бы жил на белом свете?

Окно заклинил зимний день, тускло облизывая чёрные сучья нескольких старых деревьев. Во дворе всегда снуют машины — нервные, злые насекомые. В них сидят хорошие люди, которые никому не должны... Никому, кроме Меня!

Как ни странно, ощутил прилив сил. Казалось, могу запросто расчислить небо и выпустить солнышко. К лешему серую золу! Хочется дышать, глотая свежую, живую реальность. Безумным творцом раскрасить закоулки будущего, выложить дороги весёлым смыслом.

Я встал и сделал несколько круговых движений плечами. Штанга, разобранная пылится под диваном, гантели притаились на кухне, за ящиком с картошкой. Турник давно скучает без меня во дворе.

С тех пор как ушла Лиза, будто что-то отрезали от меня грубо и беспощадно.

В окно тем временем плеснуло солнце. Оно таилось старинной жемчужиной, теперь медленно, но властно прокладывало путь сквозь ветхие облачка. Заиграло на хрустальной вазе, даже пыль не помешала, скользнуло по трюмо, где, кажется, ещё недавно отражалась Лиза. Она любила, сидя перед зеркалом учить текст, а я сзади строил смешные рожи. ...Посмотрел, как луч гладит обои, мы их вместе выбирали, но грусти не почувствовал. Перегорела жизнь китайской лампочкой! Хлопок, облачко дыма и адью.

Квартира напоминала старую змеиную кожу. Где найти сапожника или изготовителя сумок? До чего надоело видеть печальные атрибуты законченной пьесы. Героиня отчалила в светлое будущее, героя стукнули крепко скрученной театральной афишей и закопали возле сторожевой будки. Диван и пара стульев забытым реквизитом вписаны в помещение, прежде называемое домом.

Пошёл занавес! Подойдя к телефону, пожалуй, слишком по-борцовски стиснул трубку и энергично набрал номер.

— Павел Сергеевич, день добрый, Вадим! Хочу подъехать, отдать долг, в смысле суммы. Если удобно, буду в течение часа.

Я даже не дослушал кваканье отчима, ныне проживающего в предсердии столицы. Сейчас нагрянем со своих окраин. Интересно, дома ли хозяйка? Бедный Павлик провалился в отверстие, окружённое пышными формами,

и сам не заметил, как угодил туда вместе с имуществом, своим и чужим. Вроде, полгода назад здоровее у него скрипел голос. Не первый в силках бьётся. Ладно, наше дело теперь: здрасте — до свидания, гони расписку.

Отчего перед глазами частоколом ненавистные морды? Почему я вынужден разговаривать с ними, угождать, следить за речью, текущей из лживых ртов?

Постарался вспомнить отца, зажмурился, закрыл плотно уши. Не сколько секунд вглядывался в подлую темноту, пока не возник туманный светящийся силуэт. Дверь отворена, и я вижу отца — он почему-то виновато улыбается и держится за дверную ручку. В его волосах с проседью закатный отблеск. Голос матери звучит из кухни буднично. Отец тянет ручку на себя и двигается вперёд. Лучи привычно падают на клетчатую рубашку...

Куда, в какую глушь отправили меня монотонные минуты? Я барахтаюсь в глубине чередующихся суток, щёлкающих на чёрных счётах. Неужели ничего не значат картины, нарисованные памятью? Слишком много вопросов, впрочем.

Куртку надел быстро, в пожарной спешке. Уходя, громко хлопнул дверью.

В дороге привязалась какая-то мелодия, силится вспомнить откуда. Бесконечно катал её в голове, а когда вышел из метро, даже насвистывал.

Набирая по домофону номер, совершенно успокоился. Думал, противно станет, ан нет. Холодная весёлость неожиданно, но повелительно завладела мной. С чего бы? Не отказывайте себе в улыбке, если не страдаете кариесом.

Отчим удивил гостеприимством. Непонятное его благодушие поставило в тупик.

— Присаживайся, Вадик! Так рад тебя видеть!

С полуоткрытым ртом он следил за мной почти влюблёнными глазами. Вот что деньги вытворяют! Даже в его фальшивой партитуре объявились человеческие ноты. Суетливо пересчитав деньги, сунул воровато мою расписку.

— Вадик, может, по рюмочке? Встречаемся редко. Ты уж не сердчай. Я сейчас на двух работах, совсем замотался.

На его лице стояла печать «счастливой» семейной сказки. Мать с него пылинки сдувала, а теперь время шоу. За год, пока мы с ним не виделись, спина отчима слегка прогнулась в сторону пола, глаза стали слезиться и слова выговаривал с трудом. Я не корил себя за тайное злорадство. «Как он утверждал — времена меняются. В твоём сыпучем возрасте молодые особи опасны, порой смертельны». Собственно, меня не занимала его судьба. Равнодушно внимал пенсионерским сетованиям, не отвлекаясь на звуки и детали интерьера. Не хотел, даже случайно, впускать в память ненужные подробности.

Последние несколько минут длились тяжко. Кто кому давал взаймы? Отчим завёл разговор о прошлом, пытаюсь втянуть меня в некие общие воспоминания. Я отвечал коротко, не скрывая безразличия, поглядывая на часы.

Потом быстро встал, чтобы он не успел дотронуться до меня и, не прощаясь, чуть кивнув, оказался в прихожей. Моментально снял куртку с крючка и почти впрыгнул в ботинки. С лёгкостью щёлкнув замком, выскочил на площадку, дверь на сей раз закрыл тихо, но плотно.

По улице шёл без шапки, хорошо — оставил её дома. Ветер приятно охлаждал разгорячённое лицо и приводил в порядок беспокойные мысли. Вернулась давешняя мелодия. И я как-то сразу вспомнил: Jeff Waynes — «Война миров». Берегитесь, марсиане!

Банчок, откуда мне позавчера звонили, находился недалеко от местожительства отчима. Как-то всё по прямой складывалось. Надо же, какая парадигма! Стоило ночь поблуждать по извилистым коридорам, чтобы потом лететь курьерским поездом по заветному маршруту.

Как всегда не вовремя посыпал мокрый снег. Облепил шевелюру, осталось только затянуть потуже шарф. Увидел на перекрёстке нужный автобус и опрометью рванул к остановке.

В банке встретили как родного. Настроение после посещения бедного Павла заметно улучшилось. Слепя улыбка, девушки наперебой предлагали помочь заполнить документы. Вежливый молодой человек принёс папочку:

— Пожалуйста, возьмите, вам так удобно будет.

Ну цирк, неужели накануне они мне угрожали! Люблю перемены в людях, стоит верить в финансовые обязательства и чистую совесть. Пока они так участливо и сумбурно занимались мной, в кармане ожил мобильник. Я вздрогнул. Странно, вчера ещё не подавал признаков жизни, а зарядить с утра забыл. Он так и провалялся в куртке. Кто может звонить? Таскал его больше по привычке. На работе график твёрдый. Телефон не унимался.

— Вадим Петрович, — услышал я внятный голосок, — вы так всегда долго не подходите к телефону? Беспокоит администратор фирмы «Забота о вас» Варвара Игоревна.

— Да слушаю, — произнёс удивлённо, честно говоря, не ожидал столь скорого проявления работодателя.

— Я вас по делу беспокою, — продолжала вещать трубка некукольным тоном. — Для вас задание поступило от режиссёра. Написать на 3–4 страницы заметку о ненависти.

— О какой ненависти? — переспросил обалдело, шаря бестолковым взглядом по банковским стойкам.

— О чувстве ненависти, желательно с примерами из литературы или истории. Всё предельно просто. Как рождается, действует, к каким приводит последствиям. Стиль любой — лирика, медицина, без разницы, что вам ближе. К первой репетиции текст должен быть готов. Режиссёр обещал премию в 300 долларов, думаю, три страницы того стоят.

— Да, понял, справлюсь, — проговорил, стараясь твёрдо произносить окончания.

— Вадим, чуть не забыла: необходимо внести личное отношение к излагаемому. И последнее, — она сделала паузу. — Где вы сейчас находитесь?

— Я, ну, здесь... в банке, деньги отдаю, — зачем-то добавил, не успев удивиться странному вопросу.

— Передайте трубочку ближайшему сотруднику. Поверьте, это для вашей пользы.

Не сознавая, что делаю, загипнотизированным абитуриентом, протянул телефон симпатичной девушке напротив.

— Вас, — глупо улыбаясь, прошептал, глядя на неё.

Странно, она приняла мою просьбу как должное.

— Алло, слушаю вас...

Через несколько секунд у неё вспыхнули зрачки, она встала и, не отрывая мобильник от уха, куда-то быстро пошла. Машинально закончил возню с бланками. Ситуация менялась кинематографически — моментально и с музыкой. К моему столу бежала целая делегация во главе с высоченным господином. По прямой спине и немигающему взгляду угадывался начальник.

По бокам его плавно обтекали встревоженно суесящиеся сотрудники. Ни дать ни взять — акула в компании с прилипалами.

— Вадим Петрович, как же мы рады сообщить Вам о выигрыше, — он протянул крепкую ладонь и взволнованно пожал мою руку. — На Вашем счету пять тысяч евро! Вы обладатель золотого счёта. Царская услуга для солидных клиентов!

— Ну хлопайте вы, черти! — обратился он к сотрудникам с шутливой обидой.

Я медленно встал и раскланялся на три стороны, на лице благосклонный глянец.

«Пожалуй, первый раз за два года сорвал аплодисменты!»

Мне вручили на память дипломатик и пластиковую карточку. Когда открывал счёт, не думал о последствиях. На данный момент на нём оставалось несколько тысяч рублей, держал на чёрный день. Тут же лихо под овации персонала снял тысячу евро, хоть шапку приличную купить. Провожали меня дружно:

— Передавайте привет вашему начальству и запомните: для вас всегда самые выгодные предложения.

Страхи и тревоги, долго отравляющие существование, меркли, превращаясь в привидения. Спокойная улыбка, точно так каждый день провожу, поселилась на довольной физиономии. Контора, похоже, — супер, действительно забота! Их администратор заставляет выделять па банковских громил. Ай да кукла Барби, она же Варвара Игоревна! Кстати, имечко рифмуется... Чудеса творятся под серым небом декабря. Только скажите честно — кому они не нужны?!

Магазин лучше выбрать в своём родном районе. Необходимость в головном уборе насущная. Снег полосовал на фоне тёмных зданий сырой воздух. Обречённость сквозила на продуваемом проспекте, усеянном торопливыми фигурами. Улица напоминала сумасшедшую шахматную доску.

На газонах влажно бледнел снег. Тротуар, стёртый человеческими ногами, стальным оттенком приманивал высоту. Сновали туда и сюда

важные ферзи в кожаных плащах, слоны в толстых дублёнках и пешки мелькали, рассекая городскую зябкую хмарь плоскими контурами. Ваш ход, маэстро!

Зашёл в торговый центр, недалеко от метро. Поменял денёжки. Перед глазами до сих пор стояла картина проводов знатного клиента. Прав был сновидец Шекспир! Люди — актёры, вся разница — зазор между талантливим и бездарным артистом. С интересом, давно забытым, всматривался в предновогодние витрины. В залах царило оживление и предвкушение торжества.

Возбуждённый свалившимися возможностями, долго бродил по торговым подмосткам, блаженно рассматривая ненужные вещи в праздничном оформлении. Мысль о покупке нескольких простых предметов наполняла уверенностью. Медленно, но верно добрёл до желанного отдела. Каких только шапок там не предлагали! Рысья сидела на голове гигантским хищным полуостровом, рыжая лисица медно поблёскивала в искусных лучах подсветки, золотистый и тёмный бобр — бывший подводный строитель, строгий пыжик, рождённый венчать командную башку... Остановился на коричневой норке. Благородно и строго. Не устоял, купил тёплые перчатки. Собирался уходить, но на повороте зацепился за металлический поручень старой курткой. Карман, издав сухой треск, порвался в одно мгновение. Какая беда для обладателя золотого счёта! Спокойно, не напрягаясь, развернулся, бодро ступая в направлении высоко парящего транспаранта: «Куртки, плащи, пальто».

Выбирал недолго. Отхватил кожаную, цвета нынешнего асфальта, привыкшего к переменам. Тёплая подкладка своей лёгкостью отлично дополняла классическую форму. Джеймс Бонд на отдыхе, да и только.

Направляясь к выходу, увидел небольшое кафе-бистро. Покупка без обмывки — как плотник без обеда! За столиком, вооружённый кружкой живого пива, решил проводить полумёртвый период бесцветного существования. Как мало надо человеку: курица-гриль, стопка водки плюс улыбочки приятной продавщицы... Бытие летит как монолог Чацкого! Время, пробуксовав, остановилось, не чувствовал его. Ещё сегодня оно проворачивалось мельничным колесом. Монотонно, туго, с бесконечным скрипом. Несколько часов, и куда девался усталый мастодонт? Минутки порхают игриво, бабочками.

Задание режиссёра — пустяки, во мне столько ненависти, что хватит на монументальную скульптуру, пугающую гостей худкомбината. Пишу обычно легко, не затрудняясь поиском слов и сюжетов. Ночь хорошо заполнить размышлениями и историями, тем более они пригодятся в работе над ролью. Правда, последнее время мне легче пишется за компьютером, отвык от ручки. Мой старенький комп — единственный свидетель прежней жизни — серой скалой возвышается на письменном столе. Последний островок, уцелевший после землетрясения, а кругом бесконечные волны отвратительности.

Не без удовольствия расплатившись, покинул уютное заведение.

Якову надо деньги отдать. С другой стороны, хотел пораньше на работу, пора заявление накидать об уходе. Засиделся я там, знакомый художник аккуратно метит вместо меня. Будет пейзажи ночные рисовать, а может, и что-то из сюжетов Гойи навеет.

Декабрьский вечер удивительно тонок. Туман съедал очертания зданий. Светофоры истово ставили красно-зелёные точки на перекрёстах. Как будто не существовало никогда иного обличия. Окружающее силилось показать нечто знакомое, ничего не получалось. Нависло холодное безверие пустынного вечера.

Яков — единственный нормальный человек из теперешнего окружения.

Долго не виделся с ним. Просто стыдно! Бабки занял — отдать слабо!

Он на паях держит кафе рядом с моей берлогой. Душевный парень!

Поддерживал меня, когда все отвернулись. Поил, кормил бесплатно. Я ходить к нему бросил, потому что немоготу стало злоупотреблять его добротой. Из всех кредиторов оставил Якова напоследок, для хорошего заключительного аккорда.

— Извините, вы местный?

Не сразу понял, что обращаются ко мне. Впереди стоял молодой человек, рядом с ним пожилые мужчина и женщина.

— Да, здешний, — не сразу отреагировал, выныривая из тины колеблющихся мыслей.

— Понимаете, шведы здесь заблудились. Меня через фирму вызвали. Гостиница тут есть «Зазеркалье».

— Разве таксисты не знают?

— В том то и дело, что нет, — растерянно произнёс молодой человек.

— Строили здесь какую-то, севернее. Если хотите, пройдем, мне в ту же сторону. Вот только «Зазеркалье» или как называется, не скажу.

— Пойдемте, что делать. Надо иностранных гостей пристроить. Целый час по перекрёсткам шастаем.

Шли мы минут десять. Шведы отрывисто переговаривались и волновались, оглядываясь по сторонам.

— Вот тут срежем. И как раз метров через триста стройка была. Извини, два года там не ходил, — объяснил парню, поворачивая за угол.

Минуты через три сквозь голые кроны зимних деревьев засияла гостиничная вывеска «Зазеркалье». Иностранцы удовлетворённо закудахтали, одобрительно поглядывая на меня. Они о чём-то спросили своего сопровождающего. Я порывался уже свернуть в свою сторону, однако молодой человек из турфирмы удержал меня за локоть.

— Они вам тут решили презент вручить. Спрашивают, любите ли вы симфонический металл?

Я пожал плечами. И не успел опомниться, как во внутреннем кармане оказался диск. На нём красовалась надпись «Therion».

Глава 3

До Якова оставался квартал. Не стал звонить, пусть будет сюрприз.

Сегодня положительно день подарков. От американских приятных бумажек, турецких курток до шведского рока. В хозяйстве пригодится каждая вещь, давно судьба не баловала, валялся на обочине. Ловко перепрыгнул через лужу, в которой отражались фонари. Не любил раньше беспросветные зимние вечера.

И когда подступали сумерки, хотелось снотворное принять или напиться. Невольно вечером подводишь итог, а что у меня — шиш в кармане, темень за окнами и никаких перспектив. Теперь стремительной походкой снова готов штурмовать любые преграды. Будь то утро, вечер мудрёный. Хоть день, хоть ночь!

Вон в лужах цветут отражения, поздний ветер морщинит кожу талой воды. Белый снег превратился в чёрные хляби. Мне и дела нет, всё ж дорога. Зима в этом году — кошка полосатая. То жёсткий буран, то слякоть. Знакомый перекрёсток заставил прибавить темп, сегодня на работу ещё. Застать кого-нибудь из отдела кадров, крайняя удача. Ну коли такой день выдался, может, и подфартит.

Открыв дверь знакомого заведения, удивился, что ничего не изменилось со времени последнего посещения, народу почти не было. За столиком у стенки сидели паренёк с девушкой, а поодаль одинокий грузный мужчина сосредоточенно резал бифштекс, поглядывая на круглую склянку с водочкой.

Залюбовался картинкой: старое, доброе полотно столетней давности, не Пиросмани, конечно, но сочно и выпукло. Уселся за свой любимый столик. Официанта пришлось ждать долго. Минут через пять сонная девица нехотя направилась к столику, предварительно выглянув из двери, рядом с барной стойкой.

— Яков Каренович у себя? — спросил, теряя терпение. — Я его приятель старый, — добавил, уловив в её взгляде недоумение. — Коньячку грамм пятьдесят и закусить что получше.

Девица, никак не отреагировав, опять отправилась в сторону кухни. Ни здарсьте, ни пожалуйста, что за персонал нынче у Якова! Раньше меня от дверей встречали. Набрал его номер, надежда на вялую подавальщицу не окрыляла.

— Яков, — закричал нетерпеливо, — Вадим приветствует, я у тебя тут расселся. Ты сегодня при исполнении или где?

В отличие от своей подчинённой он молниеносно очутился в зале.

— Дорогой, что же ты раньше не сообщил о своём приходе?! Встретил бы как следует, шашлыком благословил.

— Яков, мне через час на работе надо быть. Плотно посидеть не удастся. Я тебя не отвлекаю?

— Да что я хоккеист что ли? Сейчас, видишь, тут не шибко.

Он печально оглядел помещение, и я заметил, что несколько лампочек не горели совсем. Зала, однако, требовала ремонта. В последнее моё

посещение здесь всё блестело и переливалось. Нынче сцена пустовала, — ни аппаратуры, ни освещения. Музыка кончилась. Минут пять мы переговаривались о каких-то пустяках. Я старался шутить, но Яков как-то тускло реагировал на остроты. Улучив момент, отдал должок. В отличие от моих близких и не очень, он расписок никаких не брал. Спокойно, не пересчитывая, положил деньги в карман.

— Рад, что у тебя налаживается, — пробасил он искренне и добавил по-доброму: — Ты сегодня не платишь, всё за счёт дружбы. И не отнекивайся. Пусть встреча пройдёт по-человечески. Поскучай недолго без меня. Пойду организую посиделки.

— Ты особо не старайся, я уже перекусил.

— Обижаешь, дорогой, когда ещё увидимся. Снимай куртку, часок посидим душевно. Устал от всяких передраг, — закончил он, передёрнув плечами.

Он казался встревоженным и напряжённым.

— Яков, у тебя музыку поставить можно? Тут по случаю одарили диском. Хотел послушать...

Я достал из кармана пластиковую коробку. На обложке красовался инфернальный тип в маске, как у Бэтмана, за спиной невесёлый пейзаж. Пустыня что ли? Ничего себе дяденька — призрак скандинавского социализма на фоне последствий общего благоденствия.

— Нет проблем, Вадим, сейчас поставим твоего «Зверюгу», по-моему, так переводится, — произнёс он медленно, пристально рассматривая картинку.

Чем-то насторожил его музыкальный персонаж.

— Подожди меня, постараюсь побыстрей, — на ходу через плечо бросил Яков, удаляясь.

Наблюдая, как он ставит диск в музыкальный центр за барной стойкой, не мог не отметить: определённо сдал друг. Движения рассеянные, очевидно, какая-то неприятность давит.

Мелодия грохнула самозабвенно и уверенно. Женский хор приятно оттенял жёсткую структуру изложения. Сперва показалось — сумбурно, но через пару минут даже оценил небрежность, танцующую вдоль основной канвы. Мне понравился узор музыкальных фраз. Может, и не изысканный, но чрезвычайно устойчивый и гармоничный. Название вполне оправдалось. Так люди любят тигра в зоопарке. Убери прозрачную стену и куда исчезнет восхищение? Пока хищник является объектом, как он хорош, осанист, с блестящей шерстью и плавными движениями. Но на лесной тропе у зрителя не будет времени насладиться грациозностью могучего зверя...

Мужик, который запивал бифштекс сугубым напитком, помотал головой.

Опрокинув в рюмку остатки «огненной воды», обречённо выпил последнюю дозу. Видимо, душа его ждала романтических заплывов свинга или простых попсовых излияний. Он подозвал официантку, бросив деньги на стол, даже не взглянул на счёт. Похоже, музыка спугнула пожилого кенара в его сознании. У дверей он обернулся и поглядел на меня с неприязнью.

— С каких пор металл гоняешь?

Я не заметил, как Яков подошёл: глядел вслед недовольному толстяку.

— Какая металлургия, выключай, посидим, поговорим в тишине без всяких шведов!

Стол преобразился за считанные минуты. Новая скатерть и дальше по прежнему: графинчик с коньячком, тёмный бок его приютил блик от свечи, поставленной Яковом. Он постучал ногтем по стеклянному сосуду:

— Из личных запасов ставки. Давай на шашлык налегай. Почувствуй разницу между забегаловкой и армянской народной легендой.

Я убрал нарушающий спокойствие граждан диск в карман пиджака. Мы беседовали как в старую добрую эпоху. Постепенно товарищ мой оттаял. Я ловил прежние интонации и смеялся его шуткам. Час прошёл незаметно.

За окнами темень нахлобучила непроницаемые чехлы на дома, которые светились сиротливыми огоньками. Они терпеливо ожидали чего-то лучшего, чем бесконечная зима. Но дудки! Останки снега свинцово поблёскивали под случайными отсветами автомобильных фар. Взглянул на часы: идут как народившиеся.

Ещё с утра включились. Чего требовать от людей, если механизмы восстают, демонстрируя непредсказуемую подлость. Так и не спросил у Якова про его напруги. Он крутил головой и уходил от темы. Почему хорошему человеку необыкновенно трудно укорениться в нашей постсоветской действительности?

Сейчас придётся ловить машину. На работу на такси — красота! Представляю, подъезжаю на шевроле, навстречу, начальник выходит, забыв закрыть рот...

С начальником действительно столкнулся в дверях. С ходу объявил о желании написать заявление об увольнении. Он почти не удивился.

— Как знаешь, Нина Аркадьевна, по-моему, ещё у себя. Посмотри там, у ворот, кто-то мусор накидал...

Я кивнул, послав его про себя на все четыре стороны. Может, ещё чётку сплясать? Мы сбациаем, только свистни. Неужели мог терпеть здешних разжиревших простаков? Отъелись падальщики на ЭСССР-ских поминках. Каждый отщипнул, сколько мог унести, некоторые, к счастью, подавились.

В отделе кадров царило оживление. Только что отъехала чешская делегация. В комнате пахло цветами и вином. Барышни, весёлые и румяные, бойко делились впечатлениями. Юлия, более молодая, о чём-то залиристо рассказывала начальнице.

— Нина Аркадьевна, — обратился я к старшей. — Уйти хочу по собственному...

Она подняла голову и внимательно оглядела мои контуры:

— Чего ты, Вадим, так шустро? Работёнку нашёл? В кино пригласили?

— Скорее в цирк, — отшутился беззлобно. — Дайте листочек для заявления.

Она протянула мне белый лист.

— Знаешь, на чьё имя?

— Ещё помню. Вместо меня знакомый художник, Игнатов, заступит.

— Да знаю, он уже звонил. Смотри, Вадим, главный грозился по полтыщи накинуть сторожам с Нового года.

Я не указал, куда ему стоит засунуть прибавку. Сдержался. За тот порсячий хлев, в котором мы прозябали, никаких денег не захочешь.

— Ой, Вадик, у тебя новая куртка и шапка какая, — произнесла Юля игриво, взбудораженная после фуршета с иностранцами. — Может, билеты в кино достанешь?

Она нарочито захохотала, поглядывая на свою начальницу, как бы приглашая на бесплатную потеху.

— В синематограф не обещаю. Но полёт под куполом цирка гарантирую, — осклабился ей в тон.

Не хватало только местного сарказма. Мне дальше. Здесь последний день отплясываю.

— Ой, — вскрикнула Нина Аркадьевна, — неправильно отметила! Что такое?! Извини, Вадим! Наверное, после сегодняшнего сабантуя. Но ничего сейчас исправлю.

Юля не унималась:

— Ну и в какой цирк собрался? Кем?

— В шапито — главным клоуном.

Я додавлю тебя, нашла с кем играть.

— И где же твоё шапито? — ядовито улыбаясь, продолжала недалёкая обитательница отдела кадров.

Понимаю, ты спишь со вторым директором. Тебе пока весело, как в старинном романсе: «Вы можете смеяться и шутить». Женщины как собаки. Им обязательно вслух необходимо обозначить свою социально-половую нишу. Смейся, смейся! Твой пузатый пердун элементарно после следующей пьянки найдёт другую дуру. Такую же жалкую и на всё готовую. Лови момент, тяни с него, пока возможно. Но меня не трогай, ничего плохого тебе не сделал.

— Стоит моё шапито посерёдь Тунгусского уезда Волчьей губернии. Над его куполом горят три потухших коньячных звезды. Шатёр открыт круглосуточно...

— Да подождите вы, опять ошиблась! — Аркадьевна рассматривала мою трудовую книжку, как египетский папирус. — Серьёзное дело! Документ!

Она мучительно потёрла лоб и с третьего раза принялась штурмовать коварные строчки. В образовавшейся тишине проявилось невыключенное радио.

«Я люблю тебя до слёз!» — наяривал невидимый исполнитель.

Юлечка примолкла, заслушавшись. В такт музыке она слегка покачивалась и прихлопывала ладошкой по стопке файлов.

Через пятнадцать минут с многострадальной трудовой книжкой быстро переходил двор по диагонали. Будочка у нас метр на полтора, возле неё стоял заждавшийся коллега.

— Что ты, Вадим, припозднился, на двадцать минут опоздал? — в голосе Сан Саныча звучала обида.

— В отделе кадров задержали. С третьей попытки проштамповали трудовую. Хорошо, хоть я заявление с первого раза сваял, а то мы с тобой вообще не свиделись бы. Ухожу, работка подвернулась. Завтра не сменишь меня пораньше, часиков в восемь утра? Плачу наличными, могу отдать сейчас.

Сан Саныч отличался прижимистостью и безотказностью подмены в случае чего, за деньги. Что ему? Он пенсионер, живёт в десяти минутах отсюда. Вышел, покурил, заработал. Как известный римский полководец.

— Уходишь? — Он почесал затылок и хитровато уставился на меня.

— Понятное дело, ты молодой. Чего тут торчать? — он с любовью оглядел двор за моей спиной. — Это наши места — стариковские. Ладно, давай деньги, считай договорились. Но учти с тебя штука — поскольку не предупредил заранее.

— Спасибо! Без проблем.

Посмотрел ему вслед с благодарностью. Ничего не выспрашивал, пожилой солидный бизнесмен.

Приблизительно через полчаса кортеж директорских машин призывно загудел. Главный высунулся: — Всё. Вадим, закрывай! Учти, ночью машина придёт на художественный склад. Там бумажка у тебя на столе. Номера и прочее.

Я лихо козырнул:

— Порядок, видел!

— Удачи тебе на новом месте, — не унимался директор.

Неужели администраторша и сюда позвонила? Не равён час выскочит из джипа и обнимет, сотрясаясь от рыданий. На прощанье не удержался и козырнул Юлечке, личико которой маячило за плечами шефа. Салют, друзья, увидимся в зале. Вы — на галёрке, я — на сцене.

Ночь обещала быть промозглой. Лужи начали осторожно подмерзать, по краям покрываясь тоненькой блестящей плёнкой. Крапинки снега уже не таяли, белыми веснушками покрывая смуглый лик старого асфальта. Днём поработали дворники. В глубине двора, у северной стены, возвышалась серая, рыхлая гора.

Из-под оседающей массы расходились тёмные вены ручейков. Сейчас они подмёрзли и остановились.

Не успел я достать блокнот и написать пару предложений по заданию режиссёра, как кто-то дико забарабанил в дверь.

— Вадим, у себя?! — заревела знакомая глотка и уже рожка в предбаннике: — Привет, артист!

— Здорово, генерал!

Лысый Борька — ВОХР, известная личность. Водку величает «блондинкой». Роман у них долгий и страстный — бразильский сериал. Чёрт знает, когда начался, закончится лишь со смертью главного героя. Бывший вояка. Бретёр и оппозиционер. Когда он ругает начальство, окошко в сторожке жалобно дребезжит. Вот и сейчас вломился без приглашения

и начал с порога молотить чепуховину. Какое мне дело до его рыбалки? Зачем слушать про пьяные похождения? В них удары Тайсона чередуются с женскими грудями невозможных размеров и конфигураций.

— Борь, мне сегодня позарез несколько страниц написать. Начальство просило к Новому году планчик составить.

Точняк знаю, боится он только директора, хотя за глаза ругает его по-чём зря.

— Вадим, какие дела?! Только понимаешь, вот когда я за сиськи её прихватил...

Придётся терпеть минут пять поддатого сексуального сказочника. В конце концов закрою сторожку и пойду на обход, как блоковские двенадцать. Жаль, винтореза нет — генерала грохнуть. Развлекается обалдуй великовозрастный! У него жена, дети, даже внуки. А наш пострел всё пиратствует и жаждет чувственных утех. Хотя ясно, как божий день, все упомянутые драки и дамы пышные — плод воздействия сивушных масел после очередного рандеву с «блондинкой». Судя по жестикующей, грамм триста принял. Ну почему я? Естественно, ночные рабочие пошлют его куда подальше, художники вообще близко не подпустят. Остаюсь только я, на посту в одиночестве. Встал, накинул куртку, преувеличенно резко грохнул замком, снимая его с гвоздя.

— Мон женераль, долг требует обойти все углы данной фортификации, распугать вождей и крыс...

— Ну, давай, Вадим, надумаешь, приходи, — не счесть алмазов, — он выразительно щёлкнул пальцем по шее. — Впрочем, как хочешь, но последняя баба так в меня вцепилась...

Я почти побежал, боясь, что он вместе со своими чертями и тётками увяжется за мной. Надо побродить минут сорок, не меньше, дабы бравый командир уснул на какой-нибудь виртуально-необъятной груди, после следующих трёхсот капель. Неплохо заглянуть к Пете. Он как раз в такое время просыпается, пьёт кофе и начинает трудиться. Последняя вещь его в Германии за большие деньги ушла. Талантлив, но скромненький. Мы с ним давние знакомые. Когда-то на театральном фуршете сошлись. Здесь случайно его встретил. Оказывается, мастерскую на комбинате арендует.

Идя по тусклому, широкому коридору, размышлял о превратностях времени. Нынче зимнее, тягучее. Поди поймай его — прошелестит минутами незаметно. Мелькнёт белым балахоном финского снайпера, и не успеешь крикнуть, а тебя уже нет. Спешить надо, хватать серые часы, выкручивать действительность, как бабы выжимают выстиранное бельё самозабвенно, сжав от усилия рот. Тьфу, опять бабы! Борька-подлец навеял.

Постучал три раза кулаком по массивной двери — наш условный сигнал. Не любит случайных людей, надоедают. Дверь открылась быстро.

— Бодрствуешь? — после краткого приветствия спросил ваятеля.

— Да, недавно встал, пора к станку. Кофе хочешь? — Он неожиданно усмехнулся: — Тебя тут видел.

На мой недоумённый взгляд пояснил:

— Да во сне. Сейчас расскажу. Вначале кофе. Присаживайся, отыщи себе чистое местечко.

В двух занимаемых мастером комнатах стоял терпкий запах настоящего творческого горения. Сырая глина, дерево, даже железная проволока, гигантской змеей притаившись в углу, дышали восторженно. Ждущие своего момента детали и материалы будущих произведений, насыщая ароматом и цветом атмосферу мастерской, дружно кричали: «Мы здесь для Дела. Завтра преобразимся!»

Глядя вслед его коренастой фигуре, невольно позавидовал — всё-то у тебя чудесно. Умён, востребован, спокоен. Покачиваясь непотопляемым ледоколом, Пётр проследовал на кухню и притащил поднос с туркой и двумя чашками.

— Представляешь, сегодня — привиделось. В театре я что ли или на концерте? Малый какой-то на сцене нечто лихое в стиле Сирано вещает и шпагой из стороны в сторону. Только свист слышен. На нём рыжий парик, костюм XVII века. Зрители в экстазе. Присмотрелся, Вадим Петрович — собственной персоной! Ты так закручивал, народ аж подпрыгивал. Думаю, по какому поводу ажиотаж? Сегодня с тобой, считай, встречались.

Я промолчал, чем особенно хвалиться: иду, не знаю куда.

— Как продвигается твой «Человек»? — спросил хозяина, желая уйти от расспросов.

— Своим чередом, — уклончиво ответил Пётр. — Название до сих пор не придумал. Вон посмотри ещё разок.

Небольшой макет возвышался на деревянной подставке. Фигура парила в воздухе или плыла по волнам. Руки простёрты, туловище вывернуто и напряжено. Ноги с силой оттолкнулись от твёрдой поверхности. Силуэт прорезали полосы вертикальные, боковые. Они подчёркивали остроту динамики стремления куда-то вверх, двигаясь под разными углами. В нескольких местах они проходили непосредственно по телу, перерубая его. Трудно было понять, помогают «Человеку» линии или, наоборот, сдерживают, не дают свободы. Но композиция смотрелась цельно, захватывая внимание. Она концентрировала взгляд на жёстком узле из человеческой плоти и колеблющихся молний, рассекающих фигуру. Кое-где мелькали морские и небесные звёзды, небольшие камешки в расходящихся лучах, напоминающие бриллианты. Струились травы вдоль выступов в местах соприкосновения различных частей скульптуры.

— Здорово, — не удержался я. — Который раз смотрю, ассоциации зашкаливают и слова куда-то пропадают.

— Тут один посоветовал название — «Человек прощающий». Даже привёл аналогию. Что разрешите на земле, то разрешится на небе. Из «Евангелия» помнишь? — скульптор наморщил лоб.

— Трудно понять. С одной стороны, небо и земля объединены в замысле. Но прощает ли он? Скорее чувствуешь порыв, сопротивление...

Пётр задумчиво сощурился.

— Мне тоже непонятно. Придумаешь название, с автора бутылка коньяка.

Уходить из светлой мастерской не хотелось, но мои тёмные коридоры не до конца пройдены.

— Удачи тебе, — прощаясь с художником, ощутил крепкое рукопожатие.

После направленного освещения в мастерской, старался идти медленнее, смотрел внимательно. Тут разное бывает. Когда коридор кончился, глянул на часы. Можно ли возвращаться? Сегодняшний обход прошёл спокойно. На пьяных не наткнулся, за исключением Бори, но он — наша здешняя достопримечательность.

Повернул к лестничному маршу. Пройдусь, пожалуй, по первому этажу, чуть подальше, но без ненужных встреч. Пора садиться кропать домашнее задание. Впереди уловил быстрое движение. Пушистый рыжий кот, так же как и я, обходил свои владения.

— Барсик, Барсик, — позвал его. — Колбаски желаешь?

В моём кармане покоился лакомый кусочек, оставленный для любимца.

Котяра уставился на меня, но через секунду метнулся в боковой проход.

«Не узнал что ли? — подумал с горечью. — Целый год кормишь, а смотрит как на незнакомого. Впрочем, не до него. Сейчас рожать в муках буду. Давненько ничего не сочинял».

Одно время в театре помогал при литотделе. Придётся реанимировать утраченное краснобайство. Первую страницу накатал в горячке. Скоро и бодро. Но, дойдя до исторических примеров, споткнулся. Хотел про Цезаря и Брута выложить, но засомневался. Ненависть ли руководила Брутом? У Шекспира он — враг тирании и единовластия. Вильям любил страсти рвать. Кто знает, вдруг что-то личное заставило римского парня пырнуть, возможно, своего отца. Не зная, как продолжить, вышел на улицу без шапки — охладить воображение. Машинально оглядел вверенный мне автопарк. Успокоившись, остановился посередине двора, окинул взглядом четырёхугольное небо, окантованное стенами комбината. На непроницаемом небосводе еле заметно проступали звёзды. Вокруг луны ореол сиял голубиным крылом. Там было немного светлей, но дальше тьма сплошным погостом. Сколько чудачков разглядывала данную картинку в кирпичной раме? И те же самые звёзды мигали им, повествуя о непостижимом.

Ненависть у нас вместо щебета птиц. Ты чувствуешь её десять раз на дню, хлебая из мелкой миски обыденности. Есть что-либо иное? Кроме поразительной неприязни и отвращения. Что за неприхотливое растение — ненависть, вырастающее на любой почве при всевозможных неблагоприятных воздействиях?

Мой хороший театральный приятель из незабвенного прошлого — замечательная иллюстрация для востребованной темы. На гастролях мы делили с ним номер. Он играл на равных со мной. Роли неплохие, характерные. До сих пор объяснить невозможно, от чего произошёл взрыв. Может, он слишком сжился со своим персонажем — отрицательным героем? Началось с ерунды. Попросил снять брюки с зеркала. Почему я должен глядеть на себя через его ширинку? Сразу море оскорблений. И как не пытался информировать про свободные вешалки в шкафу — ничего не помогало.

Понимаю, хотели бы кастрировать или ноги отрезать. Просто попросил убрать портки. Смешно, сам рекомендовал его. Толковый парень! Вместе работали. Вежливый! Много о себе разного услышал. Закончилось почти мордобоем. Потоки брани и истерические крики взбесившегося тихони привлекли соседей. Нас расселили. Но долго мучился вопросом, отчего стал врагом так быстро и непонятно? Сюжет нашёл автора. Ура!

Борясь с дремотой, быстро начиркал всплывший эпизод. С коротким разбором и цитатой из Достоевского. Повалился на художавую лежанку и отключился под нескончаемый шум близлежащего шоссе.

Очнулся от кошачьего крика, на часах пять. Сдурел он что ли? Кот не унимался, пришлось подняться и с куском колбасы выползти на улицу. В метрах трёх от моего крыльца сидел Барсик, издавая истошные крики. Чуть заметив меня, мгновенно прыснул прочь. Рыжий хвост исчез в чёрном дверном проёме одного из подъездов.

— Кошачий пизозфреник! Так трудно тут заснуть. А ты, мерзавец, будишь!

С тяжелой головой вошёл в сторожевую хибару, хлебнул остывшего чая. Забыться бы ещё на пару часов. Поведение кота возмутило. Ни колбасы ему, а пинка. Совсем животное ошалело! Мы в друзьях ходили. Перепутал зиму с весной, наверно? Коснувшись подушки, начал ровно дышать. И вскоре тонул в непроглядном омуте, собирая осколки сна.

Глава 4

Добирался домой на полусогнутых. Хорошо, Сан Саныч не подкачал, возник со своей авоськой. Необходимо беречь силы для проекта. Итак, чувства задеревенели. День намечается важный. Разных встречал режиссёра. Каков будет нынешний? У каждого своя гармошка.

Пока отмокал в ванной и наводил лоск, волнения не испытывал. Сел за комп. Начал набирать вчерашнюю абракадабру. Никак не мог сосредоточиться. Почему-то вспомнилась картавая Юлечка с козьими глазами. Она — предмет ненависти? Ха! Бедная провинциалочка, но взвинтила хорошо. Блохи действительно жгуче кусаются. Люди ничтожные порой задевают более сильных мира сего. Те нас держат за пыль. Постепенно разошёлся и закончил опус. Привычно настроил будильник. Лягу отдохну. Горите театры, взрывайтесь киностудии, но два часа мои!

Проснувшись под въедливую мелодию, моментально вскочил. За теял быструю разминку. Покидал кулаки в разные стороны, поработал корпусом. Несколько раз прогнулся. Стоит привести себя в порядок. Никакой усталости и слабости. Первое впечатление — мой последний шанс. Теперь контрастный душ, растереться полотенцем и только вперёд! В прихожей помедлив, засунул разводной ключ за ремень. Новости быстро разносятся!

Какие сюрпризы готовит новая деятельность?! Что у них там творится? Не откусишь — не поймёшь.

Подобные размышления занимали, пока искал студию. Сдаётся мне, наниматели подворотни предпочитают. Полчаса изучал здешние углы. Впереди дерево гнущее, рядом подъезд с глазком, ещё раз прочитал гамлетовскую записку. «Здесь что ли? Ни вывески, ни объявления. Зато звонок имеется. Довольно холодно». Несколько раз нажал на кнопку. Нытьё замёрзших пальцев вернуло из прошлого. В суете забыл новые перчатки. Через несколько секунд с той стороны лязгнул запор.

— К кому? — спросил охранник с неприветливым лицом.

Странно, сперва открывают, потом спрашивают.

— Мне нужен режиссёр, — я протянул бумажку.

— Угу, прямо, потом направо, попадёте на сцену. Он там.

Здание явно находилось на реконструкции. Под ногами танцевали дощатые трапы, в полутьме, кое-где мигали лампочки-временки, подвешенные над разгромом. Куда-то тянулись провода с больших катушек, посверкивал инструмент, будто только что брошенный. Совковая лопата чуть было не покалечила, расположившись в одном из проходов. Рядом зияла цементная яма, огороженная старым горбылём. Впереди освещённой поляной забрезжила моя цель. Сцена. Сразу почувствовал её, замыкавшую хаос комнат и коридоров, которые скорее уродовали, чем ремонтировали.

Медленно вышел и остановился посередине. Здесь доски были новые, подогнанные, оструганные, с каким-то непонятным запахом. Зал непроходим — кофейная гуща, только метрах в пятнадцати от края сцены — круглый светлячок: столик с лампой под зелёным абажуром. Двигаясь к рампе, пытался рассмотреть фигуру, зашевелившуюся за столиком.

— Здравствуйте! — крикнул в сторону поднимающегося человека.

Акустика потрясающаяся, сам испугался эффекта. Рокот буквально разорвался в стоячем воздухе.

— Здравствуйте, Вадим, — зычно донеслось навстречу. — Генрих Францевич Огнегорцев, тутошний кудесник, режиссёр то бишь. Сразу предупреждаю, когда на сцену идёте, будьте осторожны, и некуда: ни направо, ни налево не лазайте. Не оглядывайтесь, не стоит, тут каждый день новые штуки. Так провалитесь, Шойгу не достанет.

Он наконец поднялся и пошёл вразвалку между кресел, время от времени трогая мягкие спинки. Рост его был значителен. Я уж, на что не карлик, а этот, пожалуй, на голову выше. Двигался режиссёр уверенно, поморяцки. Чем ближе к свету он приближался, тем явственней вспыхивала грива рыжих волос, нарочито прячущая посередине розоватую лысину. Живот нависал над ремнём зелёных штанов свободного покроя, как носили в пятидесятые.

— Так, так, пообщаемся, посмотрим на вас, — приближался голос...

Ровный, чёткий — соло прораба на стройке. Я невольно разглядывал его массивную физию. Серо-голубые глаза не моргали. Нос загигался к тонкой верхней губе, нижняя — толстая, будто от другого персонажа.

— Ну как добрались, ругались, поди? — он подмигнул, улыбка делала его почти эксцентриком. — Не оправдывайтесь... — Взмах широкой

ладонью. — Помните о провалах, и всё будет хорошо. Вижу, боитесь чего-то, страшиться надо одного — отсутствия успеха. Так что трудиться будем, оставляя за порогом глупые опасения!

Я сосредоточенно воспринимал, рассуждения булькали рядом. Скорее чувствовал, чем понимал их смысл, кивая, как официант.

— Начнём, пожалуй! Задание принесли? — Он усмехнулся.

— Пожалуйста, — я протянул файл.

— Замечательно! Люблю исполнительных. Зачем только отпечатали? Больно гладенько. Интересно видеть, как работала мысль, исправления разные, — график душевного волнения. Может, отвлекались, бытовщина какая, а на бумаге заминка. Почерк человеческий важен. Черновичок червонцев стоит, а то и более. — Он многозначительно воззрился на меня и неторопливо достал из файла мой рефератик.

— Дайте пару минут, ознакомлюсь с вашим творчеством.

Прошло, пожалуй, минут пять с момента, как он углубился в чтение.

Я силился по его мимике понять, какое впечатление произвели мои потуги. Но он меланхолично перевёртывал листы с видом конторщика, просматривающего квитанции. Мне почудилось — гудят нервы, словно старые провода вдоль просёлочной дороги. Молчанье перешло естественные границы. Оно зияло пропастью в бархатной темноте зрительного зала.

— Ну что ж, молодой человек, интересно... Хорошо, что современность втиснули. Исторические примеры — чудесно. Но Бруты, Юлии согласитесь, надоели! Жалко, вы не привели диалоги. Как он вас ругал, куда посылал. ...Но в выводах мы с вами сходимся.

Генрих Францевич потёр красные клешни шеф-повара.

— Ненависть — откуда она берётся? Она появляется там, где пустота. Приятель ваш поэтому и раскаркался, — считал, что судьба к вам благосклонней на три копейки. Зависть серной кислотой выела в душе незаживающую дыру. Внешне незаметно, а внутри жжёт! Просто караул. Вы маленько пальчиком тронули, и ого-ого, на тебе! Казалось, при чём тут штаны... Дело не в них, — находиться вместе невозможно. Слушать голос, а уж замечание... Ненависть — нефть революций и погромов! Без неё владельцы мира сего — мелкие хулиганы с дохлыми идейками.

Я осторожно изучал нового начальника, явно на философию потянуло оратора. Пусть поделится наболевшим. Францевич не унимался. Обратив медный лик к невидимому потолку, неистово гремел:

— Возьмите мат! Думаете, брань? Нет — открытая исповедь ненависти, присяга на верность злодейству! Какой-нибудь неокрепший пацанёнок, ещё всех букв не выговаривает, а уже матерком. Заметьте, не выражается, а речь ведёт. Нестройно, второпях, но как едко! Потому что ненавидит себя, других, вообще всю идиотскую вселенную. Только он не будет писать о грязи философских опусов. — Он сощурил на меня ехидные мигалки. — Ненависть требует скорости, ведьма не может ждать! Она властвует от ученика начальных классов до депутата. У толпы речь приправлена жгучим соусом. Как дешёвый гамбургер кетчупом. Вглядитесь

тут бедные и богатые, простые и не очень — апологеты тайной злобы. Она сочтена из их немного презрения и неприятия действительности, требующей усердия и терпения. — Он снова насмешливо улыбнулся. — Довольно слов, займёмся делом.

Встав подбоченясь, он глубоко вздохнул, похоже, сам утомясь от своих излияний.

— Вот вам второе задание, — ударьте человечечка, в нашем случае это будет манекен. Версия такая: он вам навредил, сильно обидел до самых, знаете, жил. Воскресите, что писали. Вы размахивайтесь и... Кстати, спортом не занимались? — мягко и вкрадчиво закончил он.

— Да, так стихийно, каратэ, все увлекались... — неуверенно протянул я, вспоминая нечто далёкое.

— Отлично, там, в углу манекен, притащите на середину.

Действительно, в кармане сцены вповалку лежали болваны разных мастей. Женщины-вешалки, мужчины в пиджаках, то двуногие, то на подставках. Просто какие-то скульптуры из пластика. Выбрал дядю в пиджаке цвета кремлёвской стены.

— Ага, да вы богатея цапнули, — поделом ему. Ну, давайте думать: перед вами враг, чем его!?

— Ну, рукой, ногой, может?

— То есть не знаете? Успех там, где намечена цель и найдены средства для решения. Включите личное. Зависть — деньги, машины, возможности, женщины в конце концов? Не трогает? Абстракция — пойло для тех, кто жрёт дешёвое пиво и тихо скулит. — Генрих выдержал паузу и ткнул скрюченным пальцем эфир.

Я соответственно постарался придать физиономии понимающее выражение, хотя не соображал, чего он от меня хочет. Разберусь в процессе!

Босс тем временем вещал:

— Представьте, что некто слямзил вашу жизнь. Украл подло и бесцеремонно. Вы чувствуете, что бескрайнее небо не ваше, ходите, вовсе не оставляя следов, и взяться не за что. Кругом одни привидения. И невозможны чувства: отрада, печаль — пропали. Одна бескомпромиссная серость и слякоть, из которой ничего не вырастет. ...Попробуйте двинуть ногой, правой!

Я покорно выбросил вверх правую ногу...

— Вам мешает что-то, выньте из-за пояса помеху, — приказал он неожиданно твёрдо и резко.

Послушно вытащил разводное оружие.

— Положите на пол. Он больше не пригодится. Защита — ярость, заключённая в удар осмысленный. Вы точку ставите. Вспомните Брюса Ли: под спудом огонь, внешне сухие движения лесоруба. Интеллект и бешенство, соедините их. Ногой не надо. Попробуйте правой. Вы же правы. Снизу вверх. Только в кулак до удара за секунду перебросьте всю ненависть, силу мести. Вперёд! — выкрикнул Генрих, подняв к плечам веснушчатые кулаки.

Луч лампы полоснул по глазам, и на мгновение я увидел его, моего врага, украденную любовь, подлую повадку. Он что думает, — за деньги

можно и звёзды в грязь и людей в канаву!? Рука взметнулась молотом, хрустнули суставы, — красный пиджак кувырнулся, нелепо тряхнув рукавами, и грохнулся о настил...

Меня привёл в чувство звук — поверженный противник, лёжа на сцене, раскачивался на круглой подставке туда-сюда. В одно мгновение я оказался рядом, с разгону долбанул ногой в грудь, там что-то треснуло. Схватил за горло и башкой о доски!

— Bravo, bravo! — отрезвил раскатыстый голос шефа. — Именно так, поняли? Совмещаем личное с объектом ... и действие, действие!

Я надрывно дышал, костяшки болели, словно действительно дрался.

— Вам надо найти себя, уметь добиваться и добивать, если усилие нужно для дела. Насколько понимаю, хотите роли играть. Выпустите себя наружу из шелухи. Лишнее всё, кроме цели.

Мысль моя струилась неровно, ручейком извилистым, закрытым большими деревьями.

— Видите ли, думал в проекте участвовать, а здесь ни камеры, ни партнёров...

— Вам соседи нужны, соскучились? Усвойте: режиссёр! — он ткнул толстым пальцем себя в грудь. — Актёр, — той же сарделькой указал на мою фигуру. — Если пойму, что вы созрели, появятся камеры, партнёры спляшут... Работаем, режим вы знаете. Во сколько и куда помните. Буду давать сценарий на каждый раз. Потрудитесь не только выучить, но и поразмышлять. Придёте, внесём коррективы..., — он задумался — Страсти у вас ничего — играют. Отличная вещь, пока можно работать на имеющемся топливе, только, пожалуйста, умишко не забывайте. Бижутерия с виду ничем не отличается от драгоценностей. Попросту комбинация частичек праха: эмоции у королей и палачей оплачены одинаково. Страсть — обличье деяния, есть более глубокие залегания, но об остальном позже. На сегодня всё. Сейчас принесут сценарий на следующую репетицию. — Он лихо щёлкнул своими, казалось совсем неприспособленными для этого пальцами.

Откуда-то из тьмы послышался шорох. Промелькнув у столика, к нам спешил ассистент. Некто с совершенно незапоминающейся внешностью передал, без какого-либо отношения к происходящему, красную папку Генриху. Посыльный, не взглянув на режиссёра, так же быстро исчез во мраке, как и появился — странный картонный исполнитель. Только в глубине через несколько секунд простонала дверь, где-то за зрительным залом.

— Ознакомьтесь. — Папка перекочевала ко мне. — Повнимательней, поглубже. Итак, до встречи.

Францевич повернулся спиной и двинул к своему столику уже знакомой флотской походкой. Я стоял молча, глядя ему вслед. Через несколько метров руководитель обернулся и сказал:

— Во-первых, если я ухожу, уходите и вы. Во-вторых, папку со сценарием обязательно принесите, не забудьте. Назад пойдёте, не любопытствуйте, помните о провалах.

Обратная дорога показалась длиннее, ориентировался на тусклое свечение пыльных лампочек, запинаясь о доски, вибрирующие под ногами. Понимал, началось что-то новое в моей покорёженной судьбе.

— Эй, стажёр, помоги тут поддержать надо, людей не хватает, — неожиданно донеслось сбоку из чёрной ниши. — Да, не бось, мы — ремонтники, — добавил хриплый голос.

Машинально шагнул в сторону, откуда звали. Темень не давала возможности рассмотреть обстановку. Одной рукой трогая холодную стенку, ухватил другой здоровенную лопату, оставленную в углу. Не хотелось налететь на что-нибудь в чёрном воздухе.

— Ну где вы там, строители? — крикнул, нащупывая импровизированной опорой маршрут. В следующий момент моя лопата ухнула вниз, не удержал её от неожиданности, пытаюсь сохранить равновесие. Через несколько мгновений снизу донесся глухой плеск. Я даже не выругался, стоял, не соображая, как после удара. Затем развернулся и, стараясь двигаться старым курсом, пошёл к выходу, осторожно проверяя ботинком твёрдую почву. «Ничего себе шуточки!» Нервно оглядываясь по сторонам, довольно быстро добрался по знакомой стезе к тамбуру.

— Да что у вас тут делается?! — сипло заорал на охранника, как только увидел его лошадиную челюсть. Он безучастно сидел на стуле нога на ногу.

Меня трясло, я запинаясь. В бешенстве прорычал ему о случившемся. Он только лениво кивал, затем достал трубку, спокойно набрал номер и заговорил с кем-то на ... немецком языке. Я с тупым удивлением ловил короткие фразы-выстрелы.

— Вас предупреждали насчёт провалов? — спокойно спросил он, закончив общение с неизвестным на языке Гёте.

— Да, но...

— Не волнуйтесь, больше такого не повторится, виновные будут наказаны. Рвань какая-то, строители. Выпили бездельники. Ничего, их уже отрезвляют! — Напоследок амбал крепко стукнул кулачищем по столу, с него слетела пустая, пластиковая бутылка и долго возмущалась на полу, как недавно мой манекен. Крайне убедительно!

— Послушайте, что же теперь никому не верить?

— Конечно, а зачем? Выполняйте инструкции, а вера... — Он нехотя придвинул к себе целую бутылку с газировкой, в момент скрутил пробку и беззвучно отхлебнул.

Я не нашёл, что возразить. Перед глазами расходились стены, бряцали лопаты. Если так дальше пойдёт, костей не соберёшь. Надо всё спокойно обдумать. Сейчас слишком взбудоражен и впечатлений перебор.

— До свидания, — произнёс на пороге, уже поворачиваясь спиной к черберу.

— Подождите, вам премия за неудобство. — В мой карман что-то положили — Вот, теперь до свидания, — отчеканил голос.

— Auf Wiedersehen, — кивнул машинально.

На улице легче не стало. Глядел на ветки редких деревьев, их беспощадно листал холодный огонь ветра. Сверху летела острая, белая

труха — остатки прежней метели. Казалось, нет в мире плоскости, которую не проткнуло ледяное лезвие зимы. Подняв воротник, почесал по переулку. Над головой судорога декабрьского неба — сизая высь промёрзла, умерла. Тяжкое движение домов вдоль тротуара, запятнанного пешеходами.

«Что есть у меня? Ничего, — ясно, осязаемо выпорхнуло из сердца. — Непонятно — Шиллер с Манном разговаривают. Моё невзрачное существование. Полный стопор идей. Оставленная работа для пьяниц и увечных. Опасность, а где её нет?»

Я неловко задел какого-то субъекта, он, низко наклонив голову, спешил куда-то.

— Извините!

— Поосторожней, идиот.

Обернувшись, увидел озлобленную маску.

— Что? — переспросил, ещё плавая в мыслях.

— Осторожней говорю, кретин!

Его правая лопасть, угрожая и назидая, дёргалась на ветру в такт ругани. Мгновенно саданул ругателя в колючую челюсть. Без злобы, так, преступление — наказание. Мой оппонент отлетел к ближайшей стенке. Я тут как тут, добавил пару раз по той же, теперь осоловелой морде. Огляделся, никого поблизости, взял его за одежонку и бросил на тротуар, похожий на шкуру пятнистого леопарда.

— Ну так всё-таки? — спросил вежливо и сверху вниз подошвой по скребущей в снегу хваталке — шмяк.

Злой человек завыл.

— Не надо, пожалуйста, — прозвучало умоляюще.

— Вот и обхождение появилось. Жду извинений и характеристик.

— Извините, простите, вы хо-роший человек... — хрипел бедолага, схваченный за кадык.

— И талантливый! — проорал в его ухо.

— Та-талантливый... — заскулил наказуемый.

— То-то же, — тихим, добрым голосом прошептал я, улыбаясь в мигающие от страха, как у сломанного робота, фотоэлементы.

«Сбил, собака, только пытался утвердиться, взлететь, — на тебе!»

Завернул в проулок, прошёл дворами. Схватка взбудрила и согрела. Расслабился внутренне. Захотелось в заведение зайти, треснуть стопку. Да нет, потом как-нибудь. Сейчас лучше одному без жидкостей и дыма. Запустил ещё горячую от ударов кисть в карман, остановился, спокойно пересчитал деньги.

* * *

Вечером беспокойство вернулось. Припомнил невозмутимую рожу охранника, настораживало то, как он говорил, — без эмоций, действовал выверенно. Речь ровная, о чём не спроси. Надо будет выведать у Генриха про немецкий язык. Относительно рабочих слабо верится. Для чего им калечить артистов? Чужие поломанные кости. Им что за прибыль?! Здесь другое... Непонятное и пугающее. Голос зовущего до странности

напоминал того курильщика из офиса, где Гамлет. Сиплый, но, кажется, нарочно севший. Мой слух не обманешь. Для роли сам не раз хрипел. Впрочем, определить сложно, могу ошибаться. Узнать необходимо про кривляк с сигарами. Но сделать осторожно.

Мороз вывел на окнах заросли, сквозь светлую чащу еле читалась улица, рассечённая румяной рекламой. Проносились машины, чертя фарами по набившему оскомину заезженному пути.

Нахандыкался! Хватит, что меняю? Чепуху дворовую?! Там небезопасно и угрожающе скучно среди маниакальных рыбаков. Стены четырёхугольником вяжут...

Открыл сценарий, на свежих листах компьютерный комфорт слов. Как раз о вечере, про тоскливую боль фонарей, про заклинания автомобильных шин. Герой произносил монолог со стихотворением:

Кот играет с реальностью в жмурки.
Снов похожих не отыскать.
Спит поодаль в зелёной тужурке
работяга, рождённый летать.
Ветер медленно кружит окурки.
Холодеет осенняя статья.
Кот давно без еды и без Мурки,
но ему не приснится кровать.
А Михайлыч в удавке Морфея
слышит шумный, хмельной карнавал.
Грезит он, что жена его фея,
они вечером едут на бал.
Величавый в тени эвкалипта —
шпага в ножнах и пламень плаща...
Как червонец, порхнув в шахту лифта,
улетает в колодец душа.
И ноябрьской нехоженой ночью
кот из тьмы разглядит в тишине,
как счастливый и юный рабочий
кружит в вальсе на Той Стороне.

Текст был небольшой, для меня пустяки. Однако язык несовременный, скорее начало XX века. Метафоры изысканны, связи запутанны. Об одиночестве песня — понятно, даже близко.

Роль освоил быстро, несколько раз мысленно прокатал. Ещё через часочек глазами пробежать и порядок. Дома оставаться не хотелось. В ящичке письменного стола приютилась премия. Сгрёб, потрогал. Не испарятся ли?

К Якову что ли упасть? Нет никаких армянских сказок. От него сухим не выберешься. И вообще, судя по всему, он переживает непростые времена. Чего лишний раз человека дёргать? Мне своих проблем достаточно. Неизвестно чего ждать от возлюбленного Лизаветы, крепкий тип. Покой не для крутых. Генрих со своей конторой тоже не похож на слабокислого. Вон как банкиров танцевать заставили, любо-дорого посмотреть!

Выйду-ка чаю попить на сон грядущий. Закажу нечто кондитерское, эфемерное. Сказано — сделано.

Не прошло и десяти минут, как я сидел напротив своего дома, в кафе с громадными стёклами. Улица как на ладони. Официантки сновали со скоростью комет. Чувствовалось — дело поставлено.

— Что желаете? — улыбнулась мне прелестница в фирменном голубом пиджачке.

— Желаю весь мир, всмятку и сплясать опосля!

У девушки на лице появилось подобие улыбки через стекло.

— Нет, не волнуйтесь, я абсолютно пуст и трезв. Мне чайку желательно зелёного с пряностями. И чего-нибудь кондитерского: булочки, пирожные. Что у вас там вкусного?

— Вот, пожалуйста, рекомендую... — её улыбка снова вернулась из зазеркалья.

Я одобрил местные пирожные и даже решил на пирог. Фигура позволяет, а гантели завтра реанимирую.

Ждать заказа пришлось недолго. Девчонки работали шустро. Кухня не дремала. С удовольствием налил в чёрную с золотом чашку душистого напитка.

Кто избрёл чаепитие в России, достоин памятника и государственной награды.

Водка — вялая калека! Куда ей до благородного чая? У нас можно прожить даже без денег, но без чая — увольте. Девятый вал, мировая война, конец света, а мы сидим и попиваем. Подымается дымок над чашечкой. Аромат — забудьте о главном. Только тонкий, проникновенный вкус замечательной заварки. Дела подождут, могилы попустуют — человек пьёт чай!

Сидел я как раз около широкого окна, неплохая идея — с высоты взирать на вечернюю публику. Интересная, почти киношная лента. Люди, занятые в постановке зимнего вечера, не забывайте о замысле режиссёра. Мимика и репризы — во славу грядущих снегопадов и лиловых теней. Последние будут крепко держать вас за щиколотки. Постарайтесь сродниться с асфальтом, станьте внешним блестящим покрытием промозглой улицы. Не разбейте о гололёд свои мечты!

Уже некоторое время я наблюдал за молодым человеком. Он потягивал пиво из тёмной бутылки, дымил сигаретой, несколько раз прошёлся от остановки к киоску. Тёмное его пальтишко, расстегнувшись, смешным парусом растекалось на ветру. Парнишке хотелось какой-то деятельности. Застыв на мгновение на месте, в следующую секунду он оглядывался и бросался опреть к мачте фонарного столба. Затем так же быстро возвращался на излюбленное место. С интересом поглядывая на прохожих, он иногда, что-то спрашивал у проплывающих мимо. Судя по всему, парень не спешил — некуда.

Моя собственная неприкаянность воскресла на мгновение в образе общительного чудака. Действительно, он так вертел головой по сторонам, словно от этого зависело его будущее.

Глава 5

В кои веки выдался свободный день. Прежде, приходя с дежурства, тупо отсыпался, соорудив на диване подобие бруствера. Мой поезд давно отчалил. Порой вспоминается стук колёс и прощальное вздрагивание вагонов. О, как соскучился по перронам, пристаням и вокзалам. Эх, кабы что новое!

Занимают пошлости: пристающие к линолеуму тапочки, по крайней мере, необходимо вымыть полы. Но неохота, мне осточертела неухоженная и жалкая дыра. Тишина сегодняшнего утра обманчива. Раньше сверху жили бабка с дедкой, горя не знал. Однажды включили до предела вещей ящик — «Рубин» 78-го года. Цыкнул на них — больше никаких трансляций. Теперь вместо них вселился настоящий циркач. Постоянно репетирует один и тот же номер: человек — кенгуру. Заходил, интересовался, когда премьеры. Не иссякнет ли прыгучесть?! Бармен безбашенный, такие же друзья, тупые и весёлые. У них кнопочка есть в области пуза — откл./вкл. Мутация. Нажал и отрубился, пусть хоть дом горит.

Не вписываюсь я в их эволюцию.

Надо мною шумно, гамно
и отнюдь не моногамно!

Выбраться мечтаю из надоевшей кроличьей норы. Спасибо отчиму! Вот оно настоящее куда-некуда. С трудом ухватил здешнюю берлогу, пришлось занимать, брать кредит. Минут не оставалось, съёмки бесконечные. Когда переехали и кое-как устроились, прямо гора с плеч. А ныне хоть беги отсюда. Потолки на голове, стены душат и каждая вещь не на своём месте. Не ощущаю обжитое пространство своим. Раздражает не бедность, а скуное безразличие обыденности.

Думал, протяну полгодика, получу от отчима сумму, добавлю и приобрету что поприличней. Но нет! Забыл: реальность — шашлык из бродячей собаки. По форме и виду не отличишь от настоящего, только вкус подводит. Жрать не будешь!

Призрачный мир кинематографа и театра пронизан нервными связями. Тебя выгнали, и точно оборвались стропы у парашюта. Летишь, куврыкаясь, и гулким эхом разносится: «Не нужен! Не нужен!»

Куда податься? В Сибирь уехать? Там свои кадры и кедры. В очередь стоят роли корчить. Расписано на десять лет вперёд. Маленькие театрики. Ну их! Семейные конторы, деньги для одной фамилии. На сцене мелькают дети, любовники, племянники. Сразу не поймёшь, кто кому кем приходится. В охране хоть в душу не лезли и голову не морочили за те же щуплые бумажки.

Хорошо Игнатову! Взял папочку, и пошла плясать губерния... Не пьёт, здоровье не то. Зато работы замечательные — ничто не мешает. Поди сидит сейчас в хижине дяди Тома и водит карандашиком. На маленьком листочке возникают фигуры из нездешних миров.

От философии излечило чувство голода. Поздоровался с пустым холодильником. Вчера не удосужился — не сложилось, всё больше боксировал.

Вначале в студии, потом на пленэре. Сам не ожидал от себя такой бурной реакции. Двое суток назад не придал бы значения, мало невменяемых бродит. Подумаешь, обругал и толкнул. Здесь обстоятельства меня подменили, образ новый примерил. Хорошо, что совсем бедолаге мозги не вышиб.

Желательно откусать яичницу с колбасой для начала. Придётся выходить на улицу. Там ой как несимпатично. Похоже гололёд после вчерашней оттепели. Выглянул в окно. Градусник показывал минус 12. Повезло мне, куртка новая. Вперёд, на прорыв магазинных сетей!

Торговый зал шумел сотней глоток. Даже сразу не мог сориентироваться от обилия товаров. Несколько раз пробежал мимо молочного отдела. Покупатели в больших тележках дружно катили горы блестящих банок и прозрачных фасовок. Некоторые внимательно изучали даты на упаковках.

— Серёга, да бери ты хренову бутылку. Мы умрём, а она стоять будет, не испортится, — орал другу в ухо более нетерпеливый товарищ.

— Как бы сами с неё не испортились. Ты такую пробовал? — интересовался любознательный у коллеги.

— Бери её за горло, хуже, чем есть, не будет.

— Не скажи, мой сосед вчера выпил, и стало гораздо хуже, чуть не помер, неотложка приезжала, — бубнил упрямый собутыльник.

Удачно я попал — прямо готовый сценарий из практики экстремалов. Мой путь лежал к рыбному развалу. В мозжечке играло и пело: « Да здравствуют мидии, осьминоги и кальмары! И датское пиво — привет от Гамлета ». Выстояв солидную очередь в кассу, спокойно разложил по сумкам купленное. Громкий хруст бьющегося стекла заставил обернуться.

— Ой, батюшки! Мой мне голову оторвёт, — причитала женщина.

На полу блестело то, что осталось от пивных бутылок. По мановению случая и хлипкого пакета бутылочное превращается в разливное. Неудачная приобретательница долго трепыхала несуществующими крыльями.

Выходя из лифта, я ещё смеялся, вспоминая пивной крах. Резать колбаску на собственной кухне оказалось приятным занятием. Когда последний раз тащил столько продуктов? Уже и не помню. Одни унылые куски застревали в горле последнее время. Смачно разбил два яйца в кипящее на сковородке масло. Мелко порезанная колбаса вместе с лучком и помидором потонула в золотисто-белом океане. Сверху зеленью не забыть посыпать. Неторопливо открыл пивную банку. Пускай в стакане пузырится. С мидиями повозился, ножи тупые, даже пластиковую упаковку резать не хотят. До чего дошёл! Но ничто не могло омрачить завтрак. Воцарясь на шатком табурете, вкушал от Генриховских щедрот. Но закончить трапезу спокойно не дали, дверной звонок заставил вздрогнуть. Какая противная трель! Успел отвыкнуть от него. Друзей нет, с соседями не общаюсь.

— Кто там? — спросил сердито.

— Вадим, это соседка, — заверещало из-за двери.

«Ну, добре, а то хорошего не ждёшь».

— Что случилось? — мой баритон зазвучал мягче.

— По поводу домофона. Откройте, пожалуйста!

Нехотя повернул ключ в замке, видеть никого не хотелось, но отступить некуда.

— Здравствуйте, Вадим!

Не ожидая приглашения, она прошмыгнула в прихожую.

Крашенная брюнетка, за сорок, среднего роста, на кокетливых каблукках.

В халатике по-домашнему, но про макияж не забыла. Бытиё — извечная сцена.

Заметил вскользь: последние дни более зорко разглядываю окружающих.

— Старый домофон со своими клавишами приказал долго жить. В подъезд шастают разные. У вашей двери только что один опшивался. У меня овчарка залаяла, я — в глазок. Долговязый такой, хвост сзади блондинистый.

— Какой хвост? — переспросил удивлённо.

— Ну, волосы собирают сзади резиночкой цветной. ...Знаете лохматые такие? — Она силилась что-то объяснить. — Я собаку за ошейник и спрашиваю его через цепочку: «Вам кого?» Он машет и как заведённый: «Вадым, Вадым!» Чудной такой, явно не в себе. Подмышкой держал конверт увесистый. Предложила, оставьте, я передам. Замычал недовольно, хвостом замотал и побежал вниз по лестнице. Кому он сдался, гонятся за ним? Топал, как конь.

— Когда он приходил? Вроде утром дома был. Только в магазин отлучился.

— Как раз тогда и пожаловал. Вскоре слышу, у вас дверь хлопнула. Значит вернулись. Мы как раз на домофон деньги собираем.

— Готов участвовать. Каков вклад? — с улыбкой, стараясь не выдать беспокойство, вежливо поинтересовался я.

Отсчитав нужную сумму и желая закруглить беседу, небрежно проронил:

— Наверное, со студии приходили, сценарий жду.

— Какой странный посыльный!

— Чтобы не разглашать тайну проекта, специально такого наняли, — пошутил я на свою голову.

— Скажите, значит, могут украсть идею, надо же, — соседка заулыбалась. — Ой, а я вас помню по сериалу «Заложники времени». Там ещё такая беленькая девочка играла...

— Да, действительно...

Дама не унималась:

— Где вы сейчас работаете, в каком театре, снимаетесь?

— Антреприза, — привычно соврал, не поморщась, — в основном гастроли: Владимир, Питер, Псков.

«Хотел бы сам знать, кого и где представляю?»

— А где ваша жена? — продолжала любопытствовать гостья.

— В Австралии. Улетела пугать крокодилов...

Женщина залиvisto рассмеялась.

— Извините, мне репетировать ещё...

Чувствуя поднимающееся глухо раздражение, галантно приоткрыл собственную дверь.

— Ой, да, да, исчезаю. Извините.

На самом деле мне нечем заняться. В душе сплошная пустошь. Ветер одиночества привычно золотит закатную траву. Нежданно всплывший сериал — последняя наша с Лизой совместная работа. Как она её назвала, «беленькая»? Какая она теперь? Пойду-ка лучше допью пиво из датского королевства, пока мидии не засохли, а воспоминания не озверели.

Но настроение пошатнулось. Постоянно тыкают в прошлое всякие. Бренчат на мне, словно на балалайке. Граждане, струны порваны, не тратьте время даром! Рассеянно стал убирать со стола, вспомнил, что забыл купить средство для мытья посуды. Чертыхнулся, роясь в кухонном ящичке, там вроде мыло хозяйственное оставалось. В самый неподходящий момент ожил мобильник, пришлось бежать в комнату, к компьютерному столу. За что ненавижу чудо-связь — достанет с того света. Всегда не вовремя и назойливо.

— Вадим Петрович, — воззвал голос, который ни с каким другим не спутаю, — Варвара Игоревна. Вы как всегда верны себе, подходите не сразу.

— Да, я тут по хозяйству, но это неважно. Я вас внимательно слушаю.

— У нас неожиданно образовался шефский концерт во Владимире.

Я присвистнул, надо же, накаркал.

— Бывают внезапные выезды. Посильно помогаем, охватываем провинцию... К вам посыльного направляли со сценарием от Генриха Францевича с приказом: лично вручить под расписку. Он не дождался, ушёл. «Скорее ускакал», — промелькнула лукавая мысль. — Теперь только во Владимире получите, у нас строго. Чётко — из рук в руки, с обязательным возвратом.

— У меня электронная почта есть, — начал я...

— Вы не поняли, только на бумаге, исключительно лично. Обсуждению не подлежит. Предыдущий сценарий отдадите во Владимире, местному менеджеру Садамскому Виктору Владиславовичу. Выезжаете завтра вечерней электричкой, расписание уточните, по-моему, в шесть, с Курского. Машину дать не можем. («Конечно, невелика птица!» — отметил машинально.) — Командировочные оплатим, гостиница забронирована.

Её голосок уверенно и быстро тараторил, как моторчик небольшого катера: — Он будет держать... да вы и так узнаете. Он на Генриха Францевича похож, только ростом поменьше. Даже мы путаем! — Смешок. — Но сходство не имеет значения, — продолжала администраторша, — Вас будут ждать чёрная «Вольво» у автовокзала в двадцать один ноль ноль. Запишите номер. ...И самое главное: эстрадную тройку — ваш костюм для конференса и обувь возьмёте по адресу: Тверская, 51, там, в арочку... Представитесь работнику и скажете: от Генриха Францевича. Мы постоянные заказчики, они в курсе.

Я чиркал карандашом по первому попавшемуся листу бумаги.

— Так я конферансье?

— Всё узнаете на месте. Мы на вас надеемся. До встречи.

Интересно, ну обувь чепуха, есть выбор. Костюм для сцены, без примерки — нонсенс. Непонятно! Будут подгонять прямо на клиенте? После разговора захотелось запомнить телефон, — вечно врасплох застаёт неугомонная Варвара. Но номер оказался засекречен и усилия не увенчались успехом. Какие-то тайны, покрытые пылью. Сценарий не могут выслать. Боятся, враги воспользуются? Ерунда! Они на студиях тоннами лежат. До того нужны! Колбаску порезать, булку завернуть. Теперь как узнаешь, во сколько обойдётся костюмчик с обувью? Получается, не успели дать, верни обратно. Придётся лезть в закрома. Только денежки припрятал, не залежались.

В секретере на что только не наткнёшься. Целый ворох фотографий. В альбомах, конвертах, россыпью. Под пирамидой из бумаг, буклетов и разрозненных книг покоились мои кровные, как мумия фараона. Вытаскивая их, случайно вытолкнул небольшой альбомчик. Он раскрылся, упав на пол. Гляди, столица! На фотографии красовались мы с «беленькой». Лиза улыбалась во всю ширину объектива. Рядом — серьёзный Вадим Петрович, гордый и самоуверенный. Какое напоминание за день: второе или третье? Резко захлопнул былое, пусть милая отдыхает. С остервенением впихнул счастливую подборку в цветастой обложке подальше. Выбросить — сил не хватило, но пусть лучше не попадается.

Неизвестно, как на её месте поступил бы сам. Возраст идёт в одну сторону. Сегодня в фаворе, завтра забыли. Со временем начинаешь понимать муравьёв и кузнечиков. Живые — дрыгаются! Вон из головы полутона и рефлексy! Дню нынче не хозяин. Пора в костюмерный цех. Неизвестно, когда кудесники обедают.

* * *

В метро спал. Посчастливилось сесть, пользуйся случаем. Варвара не обманула, арочку нашёл быстро. За массивной дверью ступени вели вниз. Упёрся в железную дверь. Опять звонки! Привычно нажал на кнопку.

— Вы по записи? — прервал невесёлые раздумья почти детский голосок.

— Я от Генриха Францевича, Вадим Петрович Петелин, — произнёс зычным героем водевиля, отчётливо и сочно.

Дверь после щелчка подалась вперёд. За ней стояла маленькая женщина, действительно похожая на подростка.

— Проходите. Всё готово. — Она указала на дверь. — В примерочную, пожалуйста.

Мы вошли в большую комнату с низкими потолками, немилосердно освещённую лампами дневного света. Одна из них лихорадочно мигала, издавая неодобрительное гудение.

— Мастер Лёва, — представился коренастый, плотный человек. — Думаю, костюмчик придётся впору, но, если заминка, устрою в минуту. Подождите, сейчас обувь принесу.

Я молча уставился на объёмистую литографию, бликующую в такт недовольной лампе. Она висела на единственной незаклеенной календарями и картинками стене. Пользуясь заминкой, подошёл поближе. Люблю старинные вещи! Изображение таинственно переносило в отдалённую эпоху. Развалины, увитые плющом. Под сенью кипариса старик с посохом, отдыхающий на большом камне, рядом с ним — маленькая девочка. Наверное, путники?

— Давайте облачимся? Вот ботиночки. Сюда, будьте любезны.

В углу белела шторка. Я послушно проследовал, скинув куртку...

Конечно, за последние дни к неожиданностям привык. Но то, что костюм сидел как влитой — поразило. Лаковые туфли оказались в самый раз.

— Ну, вы волшебник! — не удержался от похвалы.

— Одну минуточку, сейчас к зеркальцу подведу! В подмышках не тянет?

Мастер Лёва заботливо, по-отечески, оглядывал своё произведение со всех сторон.

— Да в нём лезгинку можно танцевать.

Я с восторгом смотрел то на костюм, то на Лёву. Портной меж тем отступил в сторону. Встал на цыпочки у стенки и отлепил от поверхности бумажную фотографию. На ней еле просматривалась дама в длинном вечернем платье в лучах заката, возле старой мельницы. Под странным пейзажем обнаружилось большущее зеркало. Оно отразило бравого красавца в невообразимом прикиде. Армани, спрячься под скамейку! Невозможно выразить, что поражало больше: жилет, расшитый золотой нитью, тёмный пиджак цвета долгого летнего вечера. Не мог предположить — в лиловом я король!

— Как без примерки, заочно, вы сотворили произведение искусства? — поинтересовался у довольно улыбающегося Лёвы.

— Вы текст на двух страницах сможете за час выучить и пересказать? Извините, вопрос на вопрос, — мастер покачал массивной головой, украшенной седой шевелюрой.

— Конечно, не один год учили, плюс практика.

— Лёва умеет шить! И в нашей профессии и вашей есть свои тайны.

— Сколько обязан, — я замаялся. Назвать костюмом сие одеяние, не поворачивался язык.

— Вадим Петрович, не беспокойтесь, всё оплачено, включая кофр и рюкзак для обуви.

И не дав мне удивиться вслух, седовласый маг, поднял указательный палец к потолку, почти попав в мигающую лампу:

— Заказ Генриха!

И обернувшись к своей помощнице, появившейся на пороге, крикнул:

— Лия, принеси пару сорочек и запонки в коробочке!

Находясь под впечатлением от чародейства, я не чуял под собой ног. Непостижимо — из ткани создана симфония. Слышалась мощная контрмелодия в надвигающихся на город сумерках. Призывно загнутые дуги троллейбусов скрипичным квартетом поддерживали основную тему. Прохожие

скользили в едином ритме, танцуя на декабрьских мостовых. Невольно стал участником бесплатного представления. Яркие огни рекламы вышивали незамысловатые узоры в такт музыкальной канве. Возбуждённый и заворожённый внутренней песней, чуть не пропустил вход в метро.

Оказавшись на станции, сообразил, что до Курской не так и далеко. Лучше сегодня билет приобрести и в камеру хранения заглянуть. Кофр можно оставить в отделении для ручной клади до завтрашнего вечера. Обычно после пяти начинается столпотворение. Мне опаздывать нельзя. Электричка на шесть единственная, ехать около трёх часов. Брать машину — немислимо. Пробки — и думать нечего! Давненько никуда не уезжал: ни с Курского, ни с Казанского.

Курский прочно ассоциируется с Венечкой Ерофеевым. В конце 80-х хотели в молодёжном театре поставить «Москва — Петушки». Начали лихо. Когда художник принёс эскизы декораций, народ дружно завыл. Помню, с какой любовью и отдачей проходили первые репетиции. Мы прыгали по железнодорожным скамейкам, лазали по вагонным лабиринтам. Текст вырывался прямо из сердца огненными строчками. По сцене катались муляжи бутылок. Труппа бойко отплясывала на рельсах и гримасничала с фанерным сфинксом... Спектакль не приняли. Приехало несколько скучных товарищей с постными лысынами и слишком портфельчики. «Партия и правительство, антиалкогольный указ. Вы в государственном театре устроили балаган...» Режиссёр напрасно тряс книгой Ерофеева, вышедшей в советском издательстве. Они смотрели на него фальшивыми глазами и сыпали казёнными заготовками: «Театр, культ-массовая работа, воспитание подрастающего поколения...» В середине 90-х один из плешивых моралистов открыл стрипклуб.

Режиссёр собирал молодых поэтов, художников. Он отталкивался от собственной концепции — большой эстетический срез. После провала бедолага маялся давлением и предчувствием инфаркта. С тех времён застряли стихи:

Там звёзды прячутся в осоку
И ангелы бухают херес.
Рассвет привычно льнёт к востоку,
а слов родных вечерний вереск
знаком до запятой — букашки...
Ну, чокнулись — благословенье!
Как черепки этрусской чашки,
мелькают русские селенья.
Соленья убраны на полки.
По банкам зимнее варенье.
И пьют притихшие светёлки
как херес терпкое забвенье.
Лишь острой речью электрички
вдруг полоснёт сырое небо.
«Ой, братики мои, сестрички!
Одни мы здесь на свете белом...»

Исчезнет всякая сволочь, а поэмы останутся, только авторам от этого не легче. Завтра воочию увижу дорогу Ерофеевскую, хотя нет, темно уже будет.

На вокзале начальствовало оживление, в кассу было не протолкнуться. Я почему-то нервничал, стоя в очереди. К чему переживания? Билеты не закончатся, рельсы не разбомбят. От радужного возбуждения ничего не осталось. Купив на бумаге отпечатанное право на проезд до места назначения, успокоился. Как разросся железнодорожный монстр! Блестят его щупальца, в разные стороны, отправляя пассажиров. Кафе, рестораны, — чего душе угодно! Пойти хересу что ли заказать? Покойный писатель, помнится, классно излагал по данному поводу. Вместо памятника ему лучше бы хересом угощали всех вновь прибывших. В сутолоке и многолюдном чаду удалось доковылять до камеры хранения. Не понравились мне здешние порядки, перерывы какие-то. Явишься, никого не будет — в психа превратишься. Моя шикарная тройка стоит достаточно. Накладки ни к чему. Тем более первый выход. Вообще, когда встречаются, важно вовремя прибыть. Продал машину, теперь не хнычь, хотя сегодня нужен вертолёт. Я ещё чуток посокрушался о тяготах бродячих артистов и вошёл в кафе. Цены, однако, кусаются: кофе — 100 руб., булочки — 150. Офисного вида девицы и молодые люди весело щебетали за пластиковыми столиками.

Молодёжь у меня вызывает смешанные чувства. Иногда завидую их напору и неосведомлённости. Ломятся во все двери. Наверное, правильно делают? У них значительно меньше времени, чем у нас на раскрутку, на папиросу с марихуаной. Как в газетах про работу пишут — до 35 лет? Не успел — сам виноват. Обречён на медленную кремацию. Безучастное время сжигает жалкие надежды и никчёмные хлопоты. Хороша тенденция! Через лет пять место на кладбище искать? Окрыляет перспективка. Так что бегом и желательно вприпрыжку!

Я довольно шустро выпил чаёк и, вооружённый кофром, отправился домой.

(Продолжение в следующем номере.)

**Анастасия
МУРТАЗИНА**



148

**«ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ
ЛЮДЕЙ...»**

Анастасия Муртазина родилась в Москве, окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Поэт, прозаик, редактор, журналист, детский аниматор, декоратор, столяр, вкупе — почётный фрилансер всех времен и народов, стопщик прекрасных мгновений, плодотворный прогульщик (любитель прогуливаться), а также благодарный зритель, слушатель и читатель.

Траектория Творчества. № 1(21) 2014

* * *

Есть люди, которые лечат людей,
Есть люди, которые здания строят,
Есть люди, что могут ходить по канату,
Как будто гулять по дорожкам в лесу.
А есть и другие — как небо в воде,
Как лилии в поле, как павшая Троя —
Тревожатся, ищут, глядят виновато —
И в дом никогда ничего не несут.

И с ними так хрупко, и с ними так странно,
И с ними так радостно, с ними так грустно.
И им — удивляешься, злишься,
влюбляешься,

И их не удержишь, и их не отдашь, —
Как тонкие нити, осенние раны,
Как запаха дольки, как капельки вкуса,
Как в детской рассыпаны по полу бусы,
И медлит над чистым листом карандаш.

Смятение, детское стихотворенье,
И смех, потому что всё верно, всё
правильно —
(Как те «А» и «Б», на трубе восседавшие) —
Всё прочно, всё звучно — мы так же росли!
А после: паренье махнёшь на горенье,
А то — на прозренье (лишь буквы
исправлены),
А дальше — смиренность и листья опавшие,
И — запахи, запахи, звуки земли!

Есть люди, которые миром — задуманы,
Пронзительны к миру, осколочны, ветрены,
Раскрывшие руки (и словно распятые),
И к миру — острее (и мир к ним — остреей).
И все угловатости мира, зазубрины,
И все его стены, кладовки с запретами,
И локти и пасти его необъятные —
Всё сходится с ними в смертельной игре.

В душе какой-то тарарам,
душа щебечет по утрам,
творя, выпёстывая лето.
Она — колодец и вода,
попынь-трава-белиберда,
из ниоткуда в никуда
протянут луч её рассвета.

Душа — усталость и привал,
как будто кто-то не позвал
(ах, эта вечная потреба!).
А после — вихрь и карнавал,
опять волна — девятый вал,
и вновь, хватаясь за штурвал,
ты выворачиваешь в небо!

* * *

Как домики, в глубине которых
горит свет,
как мельницы, в жерновах
которых шуршит рожь,
как ёлочки, на которых тихо
искрит снег,
как лес заповедный, где ты всё
ещё ждёшь.

Как Гензель и Гретель, скитаешься
до поры
в упрямой глуши,
и бубенчики не слышны,
ни топот, ни лай, ни звенящие топоры,
кругом бурелом — колыбелька для
тишины.

А где-то ведь теплится, тянется,
мал-удал,
свечной огонёк, щекоча и будя углы.
И кто из нас однажды не выбредал
на дом со светом —
из чащи своей и мглы?

И кто из нас, умеющих жить вовне,
полоску света под дверью не ждал
в ночи?..

...А мы — это те же домики,
в глубине
которых горит огонь и рояль звучит,
шаги и дыханье, открыты окна,
сквозняк,
и шторы со смехом ловим, а их несёт,
уносит — наверно, чтоб, разомкнув
мрак,
однажды смогли взглянуть
и увидеть всё:
диван и камин, фотографии на стене...
(И снова не верим в чудо, ворчим:
быт!)

...А мы — это те же домики, в глубине
которых играет солнце
в щербинках плит,
и листья, и вальс,
и под утро — мигрень, жар,
и кофе сбежал,
и разбился плафон, бокал,
и кто-то кого-то не слушал —
и возражал,
и кто-то кого-то лишился —
и привыкал.

И кто-то кому-то — качели, полёт,
вихрь,
и кто-то кому-то — ступени, очаг,
нить.

...А мы — это просто домики
для других
(наверное, просто способы —
чтобы жить).

В чуланах — теней
то спячка, то чехарда,
в оконцах — событий
то злой, то чудесный вид.
Ещё там лукавит сказка, горит
звезда,
ещё там смеются дети
и время спит...

* * *

Если сделаться чьим-то случайным
движеньем,
можно ясно увидеть его
продолжение;
как линейку, как циркуль себя
приложить,
и пройти — от начала и до окончания
человека, движенья...
Если встать за плечами,
волноваться, смотреть, наблюдать,
сторожить.

Средь толпы раствориться и стать,
как мембрана,
и дрожать меж людей,
и вибрировать странно,
пропуская их через своё существо.
И узнаешь, о чём они плачут
и спорят,
даже если себя, как окошки,
зашторят,
даже если не скажут тебе ничего.

Вот напротив мужчина, теряющий
зонтик, —
можно влезть в него, скажем, как
в комбинезончик,
скажем, ноги в штанины, голова
в капюшон,
и на всё застегнуться — его же рукою.
И тогда вдруг поймёшь о нём
что-то такое,
и тогда разузнаешь его хорошо.

Или девушка, что расхохочется
звонко,
потому что её улыбнёт собачонка.
(Через пару секунд рассмеются
они!..)
И, почувствовав это, продолжить
беспечно, —

и построить пирог, шалаш
и скворечник,
из улыбок, которые — звезды, огни!

Узнавать бесконечно — о ком-то,
о чём-то:
эти бабки и дедки, мальчишки,
девчонки —
можно лестницу просто приставить
к их дням,
и по ним — по ступенькам —
к вершине взобратся,
с рюкзаком, котелком, фонарём
и матрацем —
и остаться навек,
и остаться бы там!

И опять волноваться — о чем-то,
о ком-то,
углублять их, как тени, выделять
их, как контур,
очень сильно и пристально думать
притом,
очень крепко и остро вживаться,
сливаться
(даже без фонаря, котелка
и матраца,
даже если на голом полу,
босиком, —
как бродяжка, как золушка,
как несмеяна...) —

...Но пока она есть и дрожит,
та мембрана,
волокнистый узор, паутина дождя, —
кем угодно ты можешь быть
и случаться,
уходить из себя и в себя
возвращаться,
безупречно — по солнцу —
свой путь находя.

**Фёдор
ДОСТОЕВСКИЙ****ОДНО СОВСЕМ
ОСОБОЕ СЛОВЦО
О СЛАВЯНАХ,
КОТОРОЕ МНЕ
ДАВНО ХОТЕЛОСЬ
СКАЗАТЬ***

Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) — один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.

Наиболее выдающиеся романы: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1879–1880), в которых отражены его важнейшие философские, социальные, нравственные искания.

К стати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, то есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что всё дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что Турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров свободен и живёт новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, — то есть будет ли это какая-нибудь федерация между освобождёнными мелкими племенами (NB. Федерации, кажется, ещё очень, очень долго не будет) или явятся небольшие, отдельные владения в виде маленьких государств, с призыванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также представить: расширится ли наконец в границах своих Сербия, или Австрия тому воспрепятствует, в каком объёме явится Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут с новоосвобождёнными славянскими народцами, например, румыны или греки даже, — константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли, наконец, все эти земли и землицы вполне независимы или будут находиться под покровительством и надзором «европейского концерта держав», в том числе и России (я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства

* Из «Дневника писателя», ноябрь 1877 года.

их от властолюбия России) — всё это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь разрешать. Но, однако, возможно и теперь — наверно знать две вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободною и, может быть, независимою жизнью, и 2) ... Вот это-то второе, что наверно, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, — у них характер в этом смысле как у всех, — а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперёд. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на поработении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго ещё они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире подвигу ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нём, — коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского народа, с царём во главе, подъятую против извергов за освобождение несчастных народностей, — эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы ещё нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, — признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели

освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение, наверно, существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьётся у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут непрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всё величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента совета министров. России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти земли будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность

их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чём же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия всё же всегда будет сознавать, что центр славянского единства — это она, что если живут славяне свободно национальною жизнью, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала всё она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы? Ответ теперь труден и не может быть ясен.

Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчёт славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать ещё сто лет вперёд. Но да сохранит бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекуинства и надзора над ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекуинство и политическое влияние своё на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечёт, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом когда-нибудь воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные учёные и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобождённые и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени привнесут много новых и ещё не слышанных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учёными увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдёт в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, ещё целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придётся России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству

ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения Славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного вопроса. Долго ещё не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это непрерывно, делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это всё, наконец, и зачем брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племён, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского её призвания — вот цель России, вот и выгоды её, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окаменеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению, в великое целое. Тогда только скажет всеславянство своё новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и более возвышаться духом, в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.

Лев БАЛАШОВ



**СТИХОТВОРЕНИЕ
И. БРОДСКОГО
«НА НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ УКРАИНЫ»
И СОВРЕМЕН-
НОСТЬ**

Лев Евдокимович Балашов — философ, профессор Московского государственного университета инженерной экологии, преподаёт также в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, кандидат философских наук. Родился в Москве в 1944 г., окончил философский факультет МГУ в 1969 г., там же защитил кандидатскую диссертацию на тему «Познавательные и практические функции категории „качество“», подготовил к защите докторскую диссертацию на тему «Категориальная картина мира».

Из книги О.И. Глазуновой «Иосиф Бродский: американский дневник» (2005. С. 72–73):

«В феврале 1994 года после того, как Украина стала участником программы НАТО „Партнёрство ради мира“, Бродский пишет стихотворение „На независимость Украины“, которое взорвало представления о нем как о поэте-эмигранте, навсегда порвавшем с Россией и со своим прошлым.

Можно по-разному относиться к стихотворению Бродского, как, впрочем, и к „Клеветникам России“ Пушкина. Но нельзя не отметить в стихах гнев человека и гражданина страны, по отношению к которой был совершён поступок, поставивший под сомнения историю взаимодействия двух стран, все дружеские отношения в прошлом. Почему же сотрудничество с НАТО Украины, а не Грузии или, например, Узбекистана вызвало столь гневную отповедь Бродского?

Ответ очевиден: поведение близкого человека (в данном случае представителя славянского содружества) всегда ранит глубже и воспринимается на более эмоциональном уровне. Лёгкость, с которой Украина была готова пожертвовать отношениями с Россией ради соображений сиюминутной выгоды (военной угрозы в отношении её не было и быть не могло), взорвала поэта, придав его словам особую жёсткость.

Стихотворение, прочитанное 28 февраля 1994 года на вечере в Квинси-Колледже (США) и опубликованное в 1996 году в газете „Вечерний Киев“, вызвало на Украине бурю негодования. По этическим, вероятно, соображениям, оно не было включено в собрание „Сочинений Иосифа Бродского“ (СПб., 2001) и в настоящее время доступно только в интернет-версии.

Хотя, по большому счёту, не понятно, чем руководствовались в этом случае составители сборника и почему стихотворения Бродского, в которых даётся негативное описание российской действительности („Пятая годовщина“, „Набросок“, „Представление“), в нём присутствуют.

Неужели ущемление чувств „чужого“ народа нас заботит больше, чем своего собственного?

Нельзя забывать об одном немаловажном факте: хотя формально стихотворение Бродского называется „На независимость Украины“, написано оно было не в связи с обретением страной государственного статуса, а по случаю поспешного желания её лидеров примкнуть к своему ещё недавно общему с Россией противнику. Стремление Украины стать членом НАТО фактически явилось заявлением о том, что теперь в любой момент она может выступить против России — своего бывшего партнёра и союзника. Именно этот шаг украинских лидеров не только Бродский, но и многие его соотечественники восприняли как удар в спину. Вероятно, поэтому тема предательства звучит у поэта на протяжении всего стихотворения.

В начале стихотворения поэт вспоминает трагические для России события Северной войны (1700–1721), когда украинские войска неожиданно перешли на сторону шведского короля Карла XII („Дорогой Карл XII, / сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно. / Как говорил картавый, / время покажет „кузькину мать“), и сравнивает поведение украинского гетмана с заявлениями Ленина („картавого“), который в ходе Первой мировой войны призывал к поражению своей страны на том основании, что эта война велась империалистическим правительством. Упоминание „кузькиной матери“ свидетельствует о печальной преемственности в поведении коммунистических лидеров, которые в стремлении удержать власть или в своих узконационалистических пристрастиях часто пренебрегали интересами страны. Знаменитое обещание Хрущёва показать „кузькину мать“ Америке на деле обернулось ущемлением территориальных прав России и передачей Украине Крымского полуострова в 1954 году.

Следующая строка стихотворения „жовто-блакытний реет над Конотопом“, с одной стороны, продолжает тему предательства Мазепы (жёлто-синие государственные цвета Украина взяла у Швеции, после того как в ходе Северной войны её войска перешли на сторону противника), а с другой, — отсылает читателей к событиям ещё более далёкого прошлого.

В середине XVII века война с Польшей, которая началась так удачно для Богдана Хмельницкого (запорожские казаки несколько раз разгромили польские войска), закончилась поражением Украины в битве при Берестечке (1651) и обращением гетмана к России с просьбой присоединить Малороссию к Московскому государству. После долгих колебаний Москва дала положительный ответ на просьбу гетмана. Коллебия же были вызваны тем, что за принятием решения о присоединении Украины для России неизбежно следовала война с Польшей, что и произошло: в 1654 году Украина вошла в состав Московского

государства, с 1654 по 1656 год Россия вела войну с Польшей за освобождение украинских земель.

После смерти Богдана Хмельницкого ситуация на Украине изменилась. Преемник Хмельницкого гетман Выговский был сторонником Польши; заключив соглашение с Крымским ханом, он выступил против Москвы, результатом чего стало жестокое поражение русских под Конотопом, о котором Бродский упоминает в стихотворении. Об этом сражении С. М. Соловьёв писал:

„Цвет московской конницы, совершившей счастливые походы 54 и 55 годов, сгиб в один день; пленных досталось победителям тысяч пять; несчастных вывели на открытое место и резали как баранов: так уговорились между собою союзники — хан крымский и гетман Войска Запорожского!“

В „Курсе русской истории“ В. О. Ключевского так описываются события под Конотопом: „Малороссия втянула Москву и в первое прямое столкновение с Турцией. По смерти Богдана началась открытая борьба казацкой старшины с чернью. Преемник его Выговский передался королю и с татарами под Конотопом уничтожил лучшее войско царя Алексея (1659). Ободрённые этим и освободившись от шведов с помощью Москвы, поляки не хотели уступать ей ничего из её завоеваний. Началась вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными неудачами, поражением князя Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметева под Чудновом на Волыни вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были потеряны“.

За несколькими строчками стихотворения Бродского скрывается полная драматизма история взаимоотношений двух стран. И хотя не всё в этой истории было гладко и безупречно, но хорошее всё же преобладало над плохим, и это хорошее, в представлении поэта, было перечёркнуто желанием новых украинских лидеров открыто стать на сторону НАТО, своего ещё недавно общего с Россией противника.

В задачи данной книги не входит подробное исследование взаимоотношений Украины и России, но если мы изучаем творчество поэта, вполне естественно постараться понять причины, побудившие его к тем или иным действиям. Нельзя довольствоваться соображениями одной из сторон, в данном случае „обиженной“ Украины, следует рассмотреть и противоположную точку зрения. И здесь без обращения к истории не обойтись, а история эта, к сожалению, далека от идиллии.

Тот факт, что мнение Бродского было облечено в крайне эмоциональную форму, тоже можно понять, — ведь и поступок Украины, который послужил поводом для написания стихотворения, выходил за рамки исторически сложившихся морально-этических принципов взаимодействия между дружественными странами.

На протяжении длительного периода истории Россия строила свои отношения с Украиной, исходя из идеи славянского содружества, часто в ущерб своим собственным интересам, не говоря уже о том, что потенциальным врагам территории не раздаривают. Возможно, и не на Украину

был направлен отрицательный заряд стихотворения Бродского, а на себя самого, наивного, воспринимавшего эту страну как ближайшего друга и союзника, на которого в любой момент можно положиться.

Терять друзей, равно как и свои иллюзии, всегда тяжело, вряд ли кому-нибудь в подобной ситуации удаётся сохранить беспристрастный тон повествования и безупречно взвешенную позицию наблюдателя».

Мой комментарий

Как перекликается это стихотворение Иосифа Бродского с нынешней ситуацией во взаимоотношениях России и Украины! Евромайдановцы, в сущности, продолжают чёрное дело Мазепы («удар в спину»). Они ведь не просто хотят ассоциации с Евросоюзом. Они хотят это сделать за счёт разрыва глубоких исторических, родственных и экономических связей Украины с Россией. Вот в чём проблема!

А в самое последнее время (конец января 2014 г.) обнаруживается ещё одна тенденция: к гражданской войне, к развалу Украины и, в конечном счёте, к жёсткому обострению конфликта России с Западом, поскольку Россия выступит в поддержку пророссийских сил на Украине.

Спасибо Ольге Глазуновой. Я поначалу воспринял стихотворение Бродского как абракадабру. Но Ольга всё расшифровала и разъяснила. Благодаря этому стихотворению я по-новому взглянул на Иосифа Бродского. Оказывается, он настоящий патриот России и может выступать вполне в духе стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России». Непонятно только, зачем он лягнул Тараса Шевченко («брехня Тараса») и противопоставил его нашему Александру Сергеевичу?!

Подписка — 2014

Извещение	<i>Форма № ПД-4</i>				
	ООО "Издательский Дом "ТТ" КПП: 401801001				
	(наименование получателя платежа)				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">4 0 1 8 0 0 9 7 4 9</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">4 0 7 0 2 8 1 0 1 0 8 0 3 0 0 1 4 6 4 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(ИНН получателя платежа)</td> <td style="text-align: center;">(номер счета получателя платежа)</td> </tr> </table>	4 0 1 8 0 0 9 7 4 9	4 0 7 0 2 8 1 0 1 0 8 0 3 0 0 1 4 6 4 7	(ИНН получателя платежа)	(номер счета получателя платежа)
	4 0 1 8 0 0 9 7 4 9	4 0 7 0 2 8 1 0 1 0 8 0 3 0 0 1 4 6 4 7			
	(ИНН получателя платежа)	(номер счета получателя платежа)			
	в "Газэнергобанк" БИК 0429087011				
	(наименование банка получателя платежа)				
	Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000701				
	Журнал "Траектория Творчества" (годовая подписка 2014 г.)				
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)					
Ф.И.О плательщика _____					
Адрес плательщика _____					
Сумма платежа 800 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _____ руб. _____ коп.					
Итого _____ руб. _____ коп. « _____ » _____ 20 _____ г.					
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.					
Подпись плательщика _____					
Кассир					

Стоимость подписки: 600 руб. + почтовые расходы 200 (50×4) руб.